**Ведьмин столб**

Сергей Абрамов

Проба пера

Берни Янг

Не было ни Франкенштейна, ни Дракулы, ни порождений Хитчкока.

Но был ужас. Нидзевецкий умер. Мы выжили. Впрочем, начинать надо не с этого.

Лучше перепишу с магнитофонной ленты часть моей беседы с репортёром Леймонтского телевидения, так и не появившейся на телеэкранах.

**Телеобозреватель.** Мы очень заинтересованы в этой беседе, господин Янг. Может быть, разрешите вас называть просто Берни?

**Я.** Называйте.

**Телеобозреватель.** Вы считаете это параллельной цивилизацией?

**Я.** Что значит «параллельной»?

**Телеобозреватель.** Ну, расположенной по соседству, в другом пространстве.

**Я.** Не убеждён.

**Телеобозреватель.** Ну, скажем, разумной жизнью.

**Я.** Не знаю.

**Телеобозреватель.** Но вы же видели всё, как говорится, своими глазами?

**Я.** Очень точно сказано: не своими глазами я, конечно, видеть не мог. Но, кроме меня, то же самое видели и другие.

**Телеобозреватель.** Вы же единственный учёный-физик, побывавший за пределами земного пространства.

**Я.** Во-первых, я не учёный-физик, а простой лаборант, а во-вторых, я не убеждён, что был за пределами земного пространства.

**Телеобозреватель.** Ну, скажем, видимого и ощущаемого нами пространства.

**Я.** Допустим.

**Телеобозреватель.** Так я и хочу представить вас нашим телезрителям. Не будьте таким колючим, Берни. Вас слушают тысячи заинтересованных.

**Я.** Никто меня сейчас не слушает, кроме вас. Вы производите телезапись, а потом будете или не будете передавать её на телеэкраны.

**Телеобозреватель.** Почему не будем? Будем! Обязательно будем. Не стесняйтесь, Берни. Рассказывайте всё, что вы видели и чувствовали.

**Я.** Я уже не раз это рассказывал. Зачитайте вашим телезрителям вырезки из леймонтских газет.

**Телеобозреватель.** Но официальная наука не подтвердила газетных высказываний.

**Я.** Тем менее у меня нет оснований опровергать мнение официальной науки.

**Телеобозреватель.** Значит, вы ничего не расскажете нашим телезрителям?

**Я.** Оставьте меня в покое.

**Телеобозреватель.** Вы пожалеете об этом, Берни.

Но я не пожалел об этом, я просто вычеркнул всё переписанное с магнитофона... Опять не с того начал. А начинать надо было с бездомного человечка по имени Кит. О нём я тогда не знал, как и никто в городе, кроме полицейского учётчика в леймонтском въездном участке. Человечка остановил на шоссе полицейский патруль на мотоциклах и предупредил учётчика по радио, чтобы тот задержал бродягу, если он появится в городе. Но Кит до города не дошёл. На шоссе у обочины остались лишь его стоптанные ботинки, которые он снял, чтобы отдохнули усталые ноги. Куда и почему он пошёл босиком, так и осталось неизвестным, да и спрятаться было негде. По обеим сторонам шоссе тянулись ограждённые колючей проволокой пастбища, пустынные из-за выжженной солнцем травы, да стенды выгоревших и слинявших реклам. Конечно, о бродяге тут же забыли.

Но о нём вспомнили неделю спустя, когда на шоссе возле брошенных и посеревших от пыли ботинок нашли пустой четырёхместный «вольво», принадлежавший генеральному прокурору Леймонта Флаймеру, вернее, его разведённой дочери Юлии, уехавшей развлекаться с тремя приятелями — сыновьями леймонтского банкира Плучека, братьями-близнецами Люсом и Люком и их прихлебателем, прозванным Красавчиком за женственный вид и длинные, как у средневекового пажа, платиновые волнистые волосы.

О пропаже Красавчика, разумеется, никто не жалел, но исчезновение отпрысков влиятельнейших в городе личностей встряхнуло всю полицейскую сеть Леймонта. Были опрошены водители всех проезжавших мимо машин. Многие видели автомобиль, управляемый Юлией, некоторые заметили пустую, стоявшую у обочины шоссе машину, но никто ничего не мог сказать об её исчезнувших пассажирах. На полтораста миль в округе каждый метр земли был обследован, и нигде не обнаружено ни малейших следов пропавших. Только кружевной носовой платок Юлии валялся в полуметре от запылённого ботинка Кита, что, однако, не объяснило причины, зачем ей и её друзьям понадобилось выходить из машины. Пешком они уйти не могли: слишком далеко отъехали от города, да и обстановка кругом не располагала к пешеходным прогулкам. Убийство с целью ограбления тоже исключалось, так как убить и бесследно перетащить трупы четырёх человек, скажем, в другую машину было трудно, да и сумочка Юлии с крупной суммой денег была обнаружена нетронутой на её водительском месте. Отпадала и версия о похищении, потому что ни прокурор, ни банкир не получали никаких требований о выкупе.

Во время третьей или четвёртой полицейской экскурсии на месте исчезновения произошла ещё одна сенсация: исчез полицейский, зачем-то задержавшийся у так и не убранных ботинок бродяги. Исчез он буквально у всех на глазах, растаял, как мыльный пузырь: шагнул человек, и не стало человека. И найти его не смогли, сколько ни бегали и ни кричали прибывшие с ним полицейские. Это было уже просто чудом, загадочным и необъяснимым.

Я не читаю полицейской хроники, но леймонтские газеты буквально все полосы заняли таинственными исчезновениями. Высказывались католические прелаты, отставные полковники, бакалавры оккультных наук, спириты и маги. У нас в институте новых физических проблем лениво поговаривали о супер- и гиперпространстве, но в прения не вмешивались. Зато целые столбцы в газетах были посвящены декларации городских ведьм; оказывается, были и такие в Леймонте, преимущественно старые девы. Муниципальные власти оказались так предупредительны к их собранию в Большом концертном зале Леймонта, что не только не сожгли их на костре, но даже согласились на их требование воздвигнуть на месте исчезновений предупреждающий столб с прибитой к нему чёрной доской, на которой белой краской было выведено:

**НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!**

**ОПАСНОСТЬ!**

**ИМЕННО ЗДЕСЬ ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ.**

Из любопытства я съездил на своём «фордике» к этому столбу, торчащему вопреки здравому смыслу среди пустынного земляного уныния. Я даже походил вокруг него, но не исчез и благополучно вернулся в Леймонт, так и не раскрыв взволновавшей весь город тайны. Меня, конечно, несмотря на всё моё презрение к псевдонаучной газетной болтовне, она не оставила равнодушным. Я был заинтересован. Не выдумками вроде летающих блюдец и зелёных человечков из космоса, а самим фактом бесследного исчезновения живой органической материи. Как мог исчезнуть, раствориться в воздухе человек? Может быть, распад атомов, вызванный неизвестным космическим излучением, или действительно шаг в супер или гиперпространство? Некая калитка в Неведомое. Я даже представил себе, что кто-то увидел эту калитку, скажем, в дымке тумана или в столбе пыли. Вероятно, Юлия. Она вышла первая, что-то заметив возле стоптанных бродяжьих ботинок. Вышла и пропала, растаяла в воздухе. Затем, вероятно, выскочили Люк и Люс. Калитку они тоже увидели, но войти не осмелились. Возможно, они решили поставить эксперимент на Красавчике. Тот отнекивался, протестовал, но его втолкнули первым. Я представляю себе, как они бегали и кричали: «Юля! Юля! Ау!», как переглянулись понимающе и согласно и втолкнули Красавчика в пылевой столб. А когда тот исчез, им ничего не оставалось, как проследовать за ним сквозь калитку в Неведомое. «Рискнём, Люк?» — «А может, всё же вернуться?» — «Неудобно, не по-рыцарски. Юлька дочь как-никак прокурора и вообще невредная. Неудобно всё-таки оставить её без помощи». — «Да и любопытно, пожалуй...» — «Ну, рискнём так рискнём». И рискнули.

В моём пересказе всё это выглядит как фарс, а не трагедия. Но я не Шекспир, трагически мыслить не умею. Да и у нас в институте никто не мыслил трагически. Болтали так, между прочим в пивном баре за ленчем. А за работой и болтать было не с кем и некогда. С научным руководством мы не общались. То был другой класс, другой круг, другой уровень мышления и благосостояния. Да никто из профессоров института, по-моему, и не относился серьёзно к леймонтской сенсации. Я слышал слова: «болтовня», «вздор», «сбежали куда-нибудь спьяна», «газетная трескотня». Потом трескотня утихла. От сенсации остался только «ведьмин столб» на Леймонтском шоссе. Мимо него проезжали, не обращая внимания и не останавливаясь. Об исчезновениях людей на дороге забыли, как о летающих блюдцах и сигналах из космоса.

Но я ещё не знал тогда, что очень скоро мне придётся об этом вспомнить.

Калитка в неведомое

Яков Стон

Сорокапятилетний, сухой, чуть сутулый и всегда чисто выбритый Яков Стон был вполне здоровым человеком, никогда ничем не болевшим, кроме давно забытых детских болезней. В организме у него была только одна аномалия: сердце его билось не слева, а справа, но всегда нормально, не нуждаясь ни в валидоле, ни в других сердечных лекарствах. «У вас бычье сердце, мой друг, — сказал ему как-то заинтересовавшийся доктор, — с таким сердцем живут до ста лет, а то, что оно расположилось на другом месте, это только случайная ошибка господа бога. Вам она не мешает». И сердце никогда не подводило Якова Стона в его беспокойной и пёстрой жизни.

Рано потерявший отца и мать, исключённый из колледжа за участие в какой-то афёре, он за два десятилетия переменил много профессий. Был репортёром, барменом, профессиональным карточным игроком, массажистом и даже сыщиком. Правда, не в полиции, а в частном сыскном агентстве, занимавшемся промышленным шпионажем. Не женился, потому что был расчётлив, а заработки слишком резко колебались от случая к случаю. К колебаниям этим он относился философски: иногда идёт карта, иногда не идёт. Сейчас не шла. И он выбрал для новой партии Леймонт, как не очень крупный провинциальный город, где считают на миллионы, а не на миллиарды, где меньше людей влиятельных, меньше полицейских, меньше жуликов и ловких деловых хищников.

Он знал двух-трёх людей в городе, от которых тянулись ниточки в так называемое «высшее общество» и в так называемые «низы».

На стареньком «торнадо» с новым мотором он доехал до гостиницы «Весёлый тюлень», получил номер и навестил одного из своих знакомцев.

Разговор был дружественный, но деловой.

— Кто есть кто в городе, я уже приблизительно знаю.

— От кого?

— От бармена Тони.

— Информация точная. Тони вполне надёжен.

— Только не вполне откровенен. Предпочитает держать язык за зубами.

— А есть рискованные вопросы?

— Есть. Например, берёт ли прокурор Флаймер?

— Только крупно и не лично, а через «жирную Инессу» в баре «Олимпик». Предвидишь дело?

— Смотря какое. Пока присматриваюсь.

— Бар или бильярдную?

— А если кегельбан?

— Не пройдёт. У нас таких штук не знают.

— А как прикрытие?

— Если метать банк, то без Джакомо Спинелли и колоды не распечатаешь.

— Говорят, у него два телохранителя?

— Не два, а четыре.

— А чем интересуется Джакомо Спинелли, кроме денег? Женщины?

— Их у него полно. Камни.

— Какие?

— Чистой воды и не менее пяти каратов.

— Значит, придётся ограничиться баром.

— Тут без Флаймера не обойтись. У него тесть начальник полиции. Только с Флаймером придётся подождать: психует. Так что на «жирную Инессу» не надейся. У него дочь пропала.

— Сбежала или похитили?

— Нет, просто исчезла. Таинственно и необъяснимо.

— С помощью Джакомо Спинелли?

— С его помощью не исчезают бесследно. Остаётся дырка в черепе. А тут как в цирке: раз-два — и готово. Ты что, не слыхал разве о леймонтских исчезновениях? Милях в тридцати по шоссе от города к западу. Там и «ведьмин столб» стоит с надписью: «Здесь исчезают люди». Неужели не видел?

— Я ехал с востока. А что за исчезновения?

— Сначала бездомный бродяга, потом прокурорская дочка с сынками банкира Плучека и их прихлебателем и один полицейский. Растаяли в воздухе, как мороженое.

— Враньё, наверно.

— Я тоже не верю, но «ведьмин столб» видел.

— Почему ведьмин?

— Его поставили по требованию общества ведьм. Милые, в общем, девицы и не без влияния. Между прочим, приличный взнос в их общество может помочь и в наших греховных делах.

— Бред.

— В Леймонте многое кажется бредом. Сам увидишь. Кстати, съезди-ка на тридцатый километр к этому столбику. Я ездил.

— И не исчез.

— Как видишь. Впрочем, я не рискнул выходить из машины.

— Боялся?

— Нет, конечно, а рисковать не хотелось. Внушительный столбик. И мыслишка мелькнула: не зря же его поставили.

На следующее утро Яков Стон в церковь, конечно, не пошёл, хотя было воскресенье и уважающие себя леймонтцы важно прошествовали под окнами, приодетые и умытые. Но Стон в своих делах привык обходиться без помощи божией. Не слишком довольный вчерашним разговором, он объехал город, ничего нового для себя не увидел, сыграл три партии на бильярде в окраинном заведении, выиграл шесть засаленных, измятых бумажек, три пропил в соседнем баре и от нечего делать отправился на тридцатый километр за городом. Там он остановился, несмотря на предупреждение. Столб был внушительный, розоватый, буковый, с назидательной надписью. Равнодушный к назиданию, Стон с несвежей от проглоченного спиртного головой подошёл к нему и потрогал: крепко. Обошёл: ничего не случилось. Потом отошёл в сторону и прищурился. И тут ему показалось, что воздух, одинаково прозрачный на милю в окружности, в полуметре от столба словно чуть-чуть потемнел, как стакан воды, в который капнули молоком. Будто прямоугольник с закруглёнными углами, слегка припудренный пылью. Оглянулся: рыжая засохшая трава, огороженная колючей проволокой, нигде не украшалась присутствием человека. Не раздумывая, потому что думать от виски и жары не хотелось, Стон шагнул к запылённой прозрачности и пропал.

Вернее, пропало всё окружающее: трава, проволока, столб, земля и небо. Стон очутился в темноватом коридоре с упругими, но не проницаемыми стенками с тропинкой посреди, по бокам которой идти было трудно, потому что края её закруглялись кверху. Позади была темнота, впереди не слишком далеко, но и не рядом маячил тусклый, беловатый, словно бы дневной, свет. Стон пошёл вперёд, ощущая как бы два воздушных потока: один встречный от света слева, другой — подталкивающий справа из темноты. Соприкасаясь, они образовывали, как он догадался впоследствии, некую химическую реакцию, воздействие которой он уже ощутил, пройдя десяток шагов вперёд. Вся левая сторона его тела как бы немела, становилась чужой, рука сгибалась с трудом, нога еле двигалась. Прижимаясь к правой стороне коридора, он пошёл дальше; стало чуть легче, немело теперь только левое плечо и рука. Через два-три шага он наткнулся на распластанное тело полицейского: он был мёртв, но тело не разложилось, даже запаха, характерного для морга, не было. Ещё через два шага он увидел тело бродяги и возле него трёх мёртвых парней, которые, видимо, пытались его сдвинуть. А чуть поодаль, опрокинувшись на спину, лежала девушка, тоже мёртвая и тоже не разложившаяся, хотя, как запомнил Стон, эпидемия исчезновений на Леймонтском шоссе произошла уже более месяца назад. Все тела были холодные, как тела мертвецов, но не тронутые разложением, — как куклы в музее восковых фигур.

Осторожно, прижимаясь к правой пружинящей стороне коридора, он вышел на свет и чуть не ослеп от нестерпимого блеска. Именно блеска, а не света, сияющего сверкания, ударившего по глазам, как тысяча молний. Стон уже не мог стоять даже с закрытыми глазами: левая нога его совсем одеревенела. Сознания он не потерял, он знал, что жив, только исчезла мысль и память о случившемся. Он видел что-то цветное, сменяющееся и яркое, видел не открывая глаз, будто на вращающейся ленте. Запомнить ничего было нельзя, как после выставки произведений абстрактного искусства: пятна и линии, линии и пятна. Потом всё исчезло; он вспомнил, что случилось, и чуть-чуть приоткрыл глаза. Блеск был по-прежнему сильный, но глаз уже привыкал. Стон приподнялся, и ему стало больно: он лежал на россыпи битого стекла и острые, колючие осколки впивались в тело. Кругом простирался как бы кокон, совсем не цветной и не прозрачный, словно его сделали из чисто вымытого горного хрусталя. Не было того, что мы называем землёй и небом, картиной или ландшафтом. Всё вокруг было замкнуто, как кишкообразный пузырь, из которого выпустили часть воздуха, стенки его сплошь покрылись морщинами, ямами и выступами, которые вблизи были похожи на невысокие утёсы и скалы. Естественные грани их были отшлифованы, словно потрудились тысячи гранильщиков, усилив сверкание их до бриллиантового блеска. Кокон был велик, в нём легко поместился бы поваленный набок небоскрёб, и дышать в этом замкнутом и едва ли проветриваемом пространстве было легко и приятно, даже лучше, чем на шоссе возле пресловутого «ведьмина столба»: никакой пыли здесь не было и никакой жары, как на палубе большого океанского парохода.

Стон, повернувшись, машинально сгрёб из-под себя горсть похожих на острые стёкла камешков, поднёс их к глазам и обмер... То было совсем не стекло. Ему не раз в его многопрофессиональной и пёстрой жизни приходилось иметь дело с драгоценными и дорогостоящими камнями, он знал, что такое караты, и держал в руках фальшивые и настоящие бриллианты. То, что захватила его ладонь, было множеством именно настоящих, а не фальшивых драгоценностей, — не осколков горного хрусталя, а многокаратных камней, за которые буквально дрались бы перекупщики на любом ювелирном рынке. Внимательно, очень внимательно осмотрев их, он разглядел и то, чем отличались они от окружавших его скал и утёсов. Те тоже сверкали, как бриллианты, но только ещё ярче, как бы подсвеченные изнутри электрическим светом в несколько тысяч ватт. Их сверкающий блеск был живым и грозным, а камешки на ладони были просто камнями, чистой воды алмазами, к которым ещё не прикасалась рука гранильщика. Несколько часов профессиональной работы, и горсть на его руке превратится в сокровище стоимостью в десятки или сотни тысяч бумажек в любой самой прочной валюте.

Он сунул камни в карман, и всё кругом снова волшебно изменилось, как в сказке. Уже не бриллиантовый кокон окружал его, а вполне земная обстановка, только внезапно изменявшаяся с каждой минутой. Сознание его как бы раздвоилось: с одной стороны, он был вне видимого пространства и жизни, способный осмыслить и объяснить виденное, с другой стороны, был тем, кого видел в изменяющейся обстановке. Сначала он видел себя на столе, покрытом белой клеёнкой, только что родившимся младенцем, и этому младенцу было неудобно и больно, и его содрогал рвавшийся из горла крик. В ту же минуту он наблюдал и первое кормление своё, и первую соску, и первую погремушку, когда чьи-то руки прижимались к нему, крошечному Стону, и большой Стон как бы впервые переживал своё рождение и рост. Он рос с чудовищной быстротой, почти не видя переходов от года к году, пил, ел, спал и болел, целовал чьё-то женское лицо, что-то думал при этом, только никак не мог поймать эти думы. Он вообще с трудом разбирался в этих менявшихся со скоростью звука кадрах. Именно кадрах. Перед ним как бы развёртывалась кинолента его жизни, чудо оператора, фиксировавшего в ней каждый час, минуту, мгновение. Большой Стон видел себя уже мальчиком, выписывающим мелком буквы на чёрной классной доске, буквы сменялись цифрами, одни лица сливались с другими во что-то дьявольски безобразное и неповторимое. У нынешнего живого Стона смертельно ломило голову, замирало сердце, перехватывало дыхание. Более мучительного состояния он никогда не испытывал. Какие-то картины запоминались, выхваченные крупным планом в этой бессмысленной киночертовщине. Вот он проваливается на экзамене по истории, вот его ухватили за руку, когда он выбросил из рукава второго туза, вот в него целится оливковая Иветта из Джипсибара, и только апельсинная корка, на которой он поскользнулся в эту секунду, спасает его от пули. Он уже забыл о юноше, он уже взрослый, потрёпанный жизнью и неудачами человек, а лента всё ещё бежит перед ним, цветная, стереоскопическая, сотканная из подлинно живых картин и картинок, в глазах рябит, невыносимо болит голова, а биение сердца кажется трескотнёй телетайпа. Слов уже нет, ничего не слышно, потом вдруг, как на магнитофонной катушке, повторяется разговор о леймонтских исчезновениях, и тот, другой Стон, опять смеётся, закуривая сигару, — всё так и было ещё вчера. И как обрыв киноплёнки погружает зал в темноту, так и он падает в эту чёрную одурь и точно так же, как в кинозале, вдруг вспыхивает свет до боли знакомым уже бриллиантовым блеском. Он всё ещё валяется на острых осколках в каком-то хрустальном ангаре среди подсвеченных изнутри утёсов и скал.

«Ещё немного, и я бы умер, — подумал Стон, — и как выбраться отсюда, если выхода нет?» Он оглянулся и сразу увидел за спиной тёмно-серый прямоугольный выход из коридора, сквозь который он проник сюда. «Странно, до этой свистопляски его не было, кокон был замкнут со всех сторон», — мелькнула мысль. Он попытался подняться и дойти до этого манящего пятна. Оно темнело в воздухе, в той же хрустальной прозрачности, абсолютно нематериальное, и всё же он знал, что это выход. Кое-как спотыкаясь, он добрался до него и шагнул в никуда.

И сразу изменилась обстановка. Бриллиантовый кокон исчез, позади была темнота, а впереди в конце коридора где-то маячил тусклый, сумеречный свет. Коридор словно повернули: он в точности повторял тот же, по которому Стон пришёл сюда, и снова сливались в середине два встречных воздушных потока, и так же слева немело плечо, нога и пальцы левой руки. Неужели он снова шёл в бриллиантовый мир, который был сзади; ведь он только что добрался сюда с бриллиантовых россыпей. Нет, не может быть, впереди должен быть выход на шоссе в привычном земном мире, где одиноко торчал «ведьмин столб» у такой же полутёмной прозрачности в воздухе. Стон сразу сообразил, что надо прижаться к правой резиновой упругости, иначе левая сторона совсем онемеет. Теперь он понял, почему исчезали люди. Они умирали в этом противоестественном коридоре, потому что с онемением левой стороны тела переставало работать и сердце. Его спасла физическая аномалия, поместившая при рождении его сердце не слева, а справа.

Почти вжимаясь в правую стенку, Стон добрался до перегораживающих коридор трупов и, не задерживаясь, перешагнул через них, на этот раз не останавливаясь и не дотрагиваясь до мёртвых тел. Наконец маячивший впереди бледный свет вывел его на знакомое шоссе, где у «ведьмина столба» всё ещё стояла его машина. Когда он сел за руль и оглянулся, сероватой прямоугольной прозрачности уже не было.

Хлебнув виски из бутылки, оставленной на сиденье, он сразу почувствовал себя лучше, хотя левая рука ещё не сгибалась. «Ну что ж, — подумал он, — попробуем теперь оценить добычу».

Яков Стон

Путь к миллионам

Когда Стон добрался до гостиницы, уже стемнело — значит, он отсутствовал более восьми часов. Есть не хотелось, но он всё-таки зашёл в бар и заказал полстакана коньяку и солёную булочку. Бармен, с которым он познакомился ещё вчера и который подавал ему завтрак утром, увидев его, обомлел:

— Что с вами, господин Стон?

— А что? — зевнул Стон.

— Вы красите волосы?

— С ума сошёл! Зачем?

— Я думал, попали в дождь и краска сошла. У вас половина волос седая.

— Дай зеркало.

Бармен вынул из-под стойки маленькое круглое зеркальце, подышал на него, протёр и подал Стону. На него взглянул измождённый, худой старик, чёрные волосы которого густо смешались с проседью.

— Случилось что-нибудь? — участливо спросил бармен.

— Случилось, — сказал Стон, — краска сошла. Только лучше об этом помалкивай.

Он выпил залпом коньяк, откусил кусок булки и поднялся к себе в номер. Там, не раздеваясь, как был в пиджаке и туфлях, плюхнулся на незастеленную кровать и мгновенно заснул. На рассвете проснулся, разделся, принял ванну и снова лёг. Только теперь он не спал.

Он думал о том, что с ним произошло вчера, как это объяснить и можно ли вообще объяснить. Вероятно, нельзя. Даже его незаконченное образование позволяло ему предположить, что произошёл некий физический казус, явно противоречащий законам Эвклида и Ньютона. На Леймонтском шоссе у «ведьмина столба», справедливо предупреждающего смельчака об ожидавших его опасностях, открылся вход в другое пространство или часть пространства, в котором ничто не походит на земной или лунный пейзаж. Вход открывается и закрывается, в какие сроки — неизвестно, но его можно увидеть, если в подходящий момент хорошо всмотреться в окружающий воздух. Вход ведёт в коридор, по которому можно войти в замкнутый, неуютный и, по земным масштабам, крохотный мир гигантски увеличенных алмазов, не отсвечивающих, а самостоятельно излучающих свет. Живые они или мёртвые, сказать трудно, но с них, как с человека кусочки засохшей кожицы, спадают мелкие алмазные осколки, которые, если над ними потрудится гранильщик, превратятся в бриллианты чистейшей воды. Однако по заповедному коридору нормальный человек пройти не может: соприкосновение встречных воздушных потоков создаёт реакцию, парализующую сердце, точнее, всю левую половину тела. Стон прошёл только потому, что сердце его находилось на неподобающей ему стороне.

Стон прошёл, но обратно уже не вернётся: слишком мучительна была эта пытка оживлённой памятью о прожитой жизни. Так и умереть можно. Ещё разок и сдохнешь на этих осколках от кровоизлияния в мозг. Нет, теперь за алмазами пойдут другие. Надо только их завербовать, а таких ненормальных, как я, вероятно, можно найти в Леймонте. Не такая уже редкость — сердце справа и хорошее здоровье плюс молодость. За большие деньги пойдут, надо только заполучить эти деньги, купить этот участок близ шоссе, вырвать к чёрту «ведьмин столб», отпугивающий людей, поймать серый прозрачный прямоугольник и пустить туда одного за другим. Надёжных, верных, нуждающихся в заработке.

Стон вытряхнул из валявшихся рядом брюк горсть принесённых алмазов и задумался. Самые мелкие из них не меньше десяти каратов, а крупные потянут на сто и больше. Таким на земле дают собственные имена-настолько они знамениты во всём мире, почитающем драгоценности. Их в Леймонте, пожалуй, и не продашь — придётся подождать более крупных деловых связей и более солидного положения в финансовых кругах. Но всё остальное надо продать в Леймонте: в большом промышленном городе его с потрохами сожрут, останешься с брюхом, перерезанным автоматной очередью. Здесь же у него есть Мартене и Звездич, которые во всём помогут и всё оборудуют, только обоих придётся взять в дело. Звездич возьмёт много, но от пяти-шести миллионов, которые рассыпаны сейчас по столу, останется далеко не малая толика, так что можно рискнуть и на десять процентов. Мартене обойдётся дешевле — он жулик мелкотравчатый, но в мелкотравчатом мире связей у него предостаточно. Именно через него он и найдёт гранильщика, который будет молчать и сделает всё в лучшем виде.

Найти Мартенса было не легко. Стон объехал почти все бары и залы игральных автоматов, пока не наткнулся на него в одной полубильярдной-полубаре за стойкой с горючим. Мартенс был уже в подпитии, но соображал и запоминал всё.

— Привет в Леймонте, — выдохнул Мартенс. — Поседел здорово. Или уже прошли золотые деньки?

— Их и не было, — сказал Стон. — А сейчас начинаются. Потому и приехал.

— Зря приехал. Профессионалов карточной игры здесь больше, чем бакалавров наук. На чистую рубаху не заработаешь.

— Карточная игра меня не интересует. Есть дело повыгоднее.

— А мне это ни к чему. Я у Джакомо Спинелли работаю.

— Телохранителем?

— Не, стрелять не люблю, да и настоящей меткости нет. Так себе, разные поручения.

— Комиссионные?

— Бывают и комиссионные.

— Говорят, Джакомо камешками интересуется?

— А ты уже знаешь, что говорят?

— Знаю, если приехал. Товар подыскиваешь?

— Тут люди покрупнее меня работают. Вот ювелира подходящего подыскать могу.

— А гранильщика?

— Есть товар? — заинтересовался Мартенс.

Стон подумал о пределе откровенности с Мартенсом и решил не открывать карт.

— Необходима личная встреча с мастером, который умеет держать язык за зубами.

— А что получу я? — спросил Мартенс.

— Если гранильщик не болтун и если он выполнит работу за несколько дней, получишь, скажем, тысячу.

Мартенс задумался.

— Подходящая цифра, спорить не о чём, — сказал он. — Сколько времени даёшь на розыск и когда должна состояться встреча?

— Когда открывается этот бар? — спросил Стон.

— В полдень.

— Так вот в полдень через два дня. Интересы Джакомо Спинелли здесь не затрагиваются, так что можешь ему не докладывать. И учти: если со мной что-нибудь случится, ты просто исчезнешь, как люди у «ведьмина столба».

— Ты же меня знаешь, Стон.

— Потому и пришёл к тебе. А теперь прощай, у меня ещё один нужный визит.

— К Звездичу?

— Ты слишком догадлив, Мартенс, — сказал Стон, — а догадливые люди долго не живут. Значит, через два дня в полдень. Пока.

К Звездичу Стон поехал вечером, захватив с собой несколько мелких и крупных камешков их можно было показать ему и без огранки. Звездич человек опытный, сразу определит, что это не фальшивки. Остальные камни для безопасности Стон поместил в специально заказанном сейфе Центрального банка в Леймонте, открывавшемся только ему одному известным шифром.

Для визита к Звездичу Стон приоделся и причесал красящей щёткой волосы — ведь он был у него только позавчера, и внимательный глаз приятеля и соучастника многих стоновских авантюр сразу же заметил бы происшедшие изменения. Пришлось бы врать, объясняя необъяснимое.

Звездич принял его в пижаме и туфлях. Он был лыс, жирен и, должно быть, плохо спал ночью.

— Ну как, присмотрелся? — спросил он.

— Не только. Уже решил.

— Что именно?

— Есть предложение.

— Мелкие дела меня больше не интересуют, — сказал Звездич, открывая бутылку рома.

— Дело не мелкое.

— Смотря по чьей мерке.

— Даже по твоей.

— На тысячи или десятки тысяч?

— Бери выше.

— На сотни? — спросил Звездич уже удивлённо.

— Ещё выше. На миллионы.

— Ограбление банка или фиктивные акции? — ухмыльнулся Звездич. — Для таких авантюр я уже стар, дружище, да и тебе не советую.

Стон помолчал, как бы решая, рассказывать всё или нет. Потом сказал:

— Пока ты прихлёбывал на кухне у Спинелли, я не дремал в кресле-качалке. Я был в Южной Африке у Людевиц на алмазной зоне побережья.

— Кому врёшь? Я же знаю, что зона запретна и туристов туда не пускают.

— Я был не как турист. А что я вывез, смотри.

Он вынул из кармана бумажный конвертик и высыпал на стол его содержимое-десятка полтора алмазов чистейшей воды, прозрачных и не окрашенных посторонними примесями. Даже без огранки они стоили бы немало, причём самый мелкий весил не меньше десяти каратов.

— Возьми лупу. Посмотри на свет. Я фальшивками не торгую, — сказал Стон.

Побледневший от волнения Звездич трясущимися руками взял один из камней и поднёс к глазам. В такой позе он простоял не менее двух минут.

— Настоящие, — сказал он. — Даже ювелирной экспертизы не нужно. Это всё?

— Нет, только четверть вывезенного и спрятанного в сейфе. После огранки это будут бриллианты, достойные королей. Хотя короли урана и нефти и не носят корон, но драгоценные камни любят и ценят.

— У тебя уже есть гранильщик?

— Нашёл одного через Мартенса.

— Сколько дал? Я имею в виду Мартенса.

— Тысячу.

— Можно было дать и дешевле. Найти гранильщика много легче, чем покупателя. Особенно здесь, в Леймонте.

— Потому я и пришёл к тебе.

— А сколько получу я?

— Десять процентов. Рассчитывай на миллион. Думаю, не меньше.

Звездич задумался. Сделка была стоящей, самой крупной в его жизни. Миллиона три даст Спинелли, миллионов пять банкир Плучек, остальные выложат воротилы помельче.

— Все камни такие?

— Есть и крупнее. Экспертизу давай любую. Я знаю, что экспертиза понадобится: миллионы так просто не отдают. Только без болтовни. Бриллианты не краденые: я сам нашёл россыпи. А россыпи старательские — никто преследовать не будет.

— Придётся всё же продешевить, — вздохнул Звездич. — Источник товара неясен. А разъяснять не желательно. Мои условия миллион, а тебе, я думаю, ещё шесть-семь останется. В самом худшем случае. А может, и больше.

Стон не спорил: Звездич не болтун и ситуацию знает, а шесть-семь миллионов — это уже конец скитаниям, авантюрам, афёрам и мелкому жульничеству...

И Стон не ошибся. Спрятав самые крупные бриллианты, продавать которые через Звездича было уже рискованно, он продал всё остальное за восемь миллионов. После расчёта со Звездичем у него осталось семь плюс ещё пять-шесть камней такого размера и веса, что они сделали бы его одним из королей мирового ювелирного рынка.

Однако он предпочёл стать единственным и всемогущим владыкой этого рынка. Нужно было только снова открыть калитку в Неведомое.

Первым шагом на этом пути была покупка у фирмы «Кроул и Кроул. Песок и гравий» земельного участка, примыкавшего к шоссе как раз там, где всё ещё высился «ведьмин столб». Он не только не мешал, он был даже нужен Стону, как веха, вблизи которой открывалась и закрывалась еле видимая калитка. Оставалось немногое: найти кандидатов на путешествие по опасному коридору, проверить их годность, завербовать, проинструктировать и обеспечить сохранность всего ими вынесенного.

С этого Стон и начал.

Берни Янг

Дары данайцев

Timeo danaos et dona ferentes.

*Боюсь данайцев, дары приносящих.*

Так строчка из «Энеиды» Вергилия вошла в лексикон современного интеллигента.

Первый дар я получил в виде очень странного объявления, напечатанного в «Леймонтской хронике»:

**ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ**

лица от 20 до 40 лет с единственным условием, что при нормально-оптимальном состоянии здоровья сердце у них находилось бы не слева, а справа. Работа кратковременная, но может стать постоянной, требует от приглашаемого некоторого мужества и бесстрашия, но опасности для жизни не представляет. Ни в чём не противоречит она и законам государства, равно как и моральным принципам. В случае кратковременности за несколько дней инструктажа и один день работы приглашаемому выплачивается наличными или чеком, пять тысяч долларов в любой валюте. Лица с нормальным положением сердца в грудной клетке могут не беспокоиться. Обман будет немедленно установлен специальным медицинским обследованием. С предложениями и запросами обращаться в юридическую контору «Винс и Водичка» на Мейсенской улице, дом 22.

К объявлению в городе отнеслись, как к курьёзу или мистификации, за которой последует рекламное разъяснение с восхвалением нового сорта зубной пасты или туалетной бумаги.

— Читал? — спросил меня владелец табачного киоска, где я обычно покупал сигареты. — Пять тысяч! Дураков ловят.

В пивном баре за утренним завтраком соседи, наскоро глотая кофе с поджаренной булочкой, тихонько посмеивались:

— Ерундистика. Завтра какой-нибудь тип с сердцем справа будет показывать карточные фокусы или ходить по канату на Старомушкетной ярмарке.

— Или носить объявление какого-нибудь знахаря о пересадке сердца слева направо без хирургического вмешательства.

— Зачем?

— Чтобы получить пять тысяч.

— В Юридической конторе на Мейсенской улице.

— В конторе, которой нет.

— Кажется, есть. Я видел вывеску.

— Просто кинотрючки. Ищут людей для безопасной инсценировки побоища.

У говоривших было левостороннее сердце и хороший аппетит.

У меня же как раз сердце справа, а не слева, об этом знали мои родители, старый доктор Шмот, коллеги из лаборатории и даже невеста, брак с которой так и не состоялся. Но аппетита у меня не было. Магические цифры — 5000 и день работы заслоняли мир.

В лаборатории меня встретили с интересом.

— На Мейсенской улице был?

— Не был? Зря. Для тебя работка.

— И однодневная.

— Дни инструктажа прибавь.

— Всё равно кратковременная. Возьми отпуск за свой счёт, если примут. Скажи: тётка при смерти или что...

— А почему вы думаете, что его примут? — вмешался Жилинский, самый занозистый наш лаборант. — Одного правостороннего сердца мало. Читали? Работа требует мужества и бесстрашия. А откуда у него мужество и бесстрашие? В автогонках не участвовал, на скалы не лазил, драться не умеет. Дадут по носу — сразу сникнет.

Появление профессора Вернера мгновенно рассеяло митинг. Лаборанты вспорхнули к своим местам. Меня ни о чём не спросили и ничего не советовали: профессор Вернер «Леймонтской хроники» не читал.

Но я читал и перечитывал и по окончании работы в институте послал из ближайшего почтового отделения письменное предложение юридической конторе «Винс и Водичка». Послал и стал ждать.

Но ждать пришлось не долго. Дня через три почтальон принёс мне карточку с приглашением явиться в частную клинику доктора Харриса для специального обследования.

Приняла меня медицинская сестра, похожая на голливудскую «звезду» в белой наколке, прочла карточку и проводила без вопросов в кабинет Харриса. Доктор был ни на кого не похож. Толстый, с модной чёрной бородкой, очень вежливый и незаинтересованный: никакого гонорара ему от меня не причиталось. Он сначала прослушал сердце, потом выключил свет в кабинете и втиснул меня между створками рентгеновского аппарата для просвечивания грудной клетки.

— Всё в порядке. Подходите, — изрёк он и добавил: — Правда, остаётся ещё кардиограмма и запись электрической активности мозга.

Но и эти процедуры не подвели. Ленты с записями аппаратов подтвердили диагноз.

— Порядок, — повторил доктор Харрис. С этой запиской, — он сунул мне в руку что-то вроде рецепта, — явитесь в контору «Винс и Водичка» на Мейсенской улице.

Мной играли, как мячиком. Хмурый мужчина лет под пятьдесят, не то Винс, не то Водичка, избегая смотреть вам прямо в глаза, прочитал записку доктора Харриса, задал несколько вопросов об уровне моего образования, благосостояния и профессиональной обученности и позвонил кому-то по телефону.

— Есть ещё один от Харриса. Берни Янг, физик-лаборант в Институте новых физических проблем. Подходит по всем данным. Может взять отпуск за свой счёт на потребное время. Поэтому лучше всего вам поговорить с ним лично.

Получив ответ, он предложил мне явиться в офис Якова Стона на Блайдерской площади в многоэтажной резиденции торгово-промышленных городских воротил. Это был ещё один данайский дар: «подходит по всем данным». Третий и, видимо, последний должен был мне предложить неведомый Яков Стон.

В изысканно старинном кабинете без стекла и пластика меня принял худощавый, с густой проседью в волосах, неопределённого возраста человек с глубокими морщинами у губ, какие оставляет трудный путь наверх. Вероятно, Стон родился и вырос далеко не таким состоятельным человеком, чтобы купить контору в небоскрёбе торгово-промышленной резиденции. Но это меня совсем не касалось. Обо мне уже доложили, и я спокойно ждал вопросов, которые мне будут заданы.

— Берни Янг? — спросил Стон.

Я пожал плечами:

— Вероятно, вам об этом уже сказали.

— По специальности физик?

— Об этом я уже писал в юридическую контору.

— Меня зовут Яков, вас — Берни. Это упрощение снимает официальность с нашего разговора. А он будет долгим, если не возражаете.

Я снова пожал плечами. Какие же могут быть возражения, я пришёл по объявлению и ждал разъяснений. А времени у меня было достаточно.

— Вы уже четвёртый, которого я нанимаю для этой работы, и единственный, который может по-настоящему оценить обстановку, где придётся эту работу выполнять. У меня два гуманитарника и один совершенно невежественный субъект, шофёр по выучке и уголовник по склонности. Вы же человек с научно подготовленным мышлением.

— Не преувеличивайте, — перебил я, — обыкновенный физик-лаборант, отнюдь не элита.

— Я и не думал, что на моё предложение откликнется представитель научной элиты. Но мыслить научно вы можете и оценить обстановку тоже. А обстановка весьма необычная.

Стон прошёлся по комнате, не позволив мне встать, и продолжал с интонацией скорее застольного собеседника, чем нанимателя-шефа:

— Вы слышали об исчезновениях людей на Леймонтском шоссе?

— Читал в газетах, — сказал я равнодушно.

— И не пытались искать объяснения?

— У нас что-то говорили о супер- или гиперпространстве, то есть о пространстве, лежащем за пределами нашего трёхмерного мира, но я как-то не задумывался над этим. Не склонен к фантастике, да и в исчезновения не верил. Могли же люди куда-то уехать и где-то скрываться. А полиция часто делает из мухи слона.

— Полиция констатировала только факт исчезновения, но люди не исчезли. Они все умерли, Берни. Я сам видел их трупы. Они и сейчас там лежат.

— Где?

— В вашем гиперпространстве у «ведьмина столба».

У меня, вероятно, был вид идиота, так что Стон даже улыбнулся, наблюдая мою реакцию на его слова.

— «Ведьмин столб», — сказал он, — был врыт там, где стояли когда-то старые башмаки бродяги Кита. Он их снял, прежде чем нырнуть в гиперпространство. Не упрекайте меня в терминологии: мне ваше определение очень понравилось. Оно, пожалуй, точнее всего определяет и все последующие исчезновения. Я тоже побывал там. Только не умер, как видите.

Я молчал, ничего не понимая.

— Сейчас объясню, — продолжал Стон. — Иногда — далеко не всегда и не часто, мы это проверили, — у «ведьмина столба» появляется туманность, лёгкий дымок, сквозь который можно пройти. Вопрос: куда? За дымком недлинный коридор, этак метров тридцать, не больше. Человек может пройти по нему не сгибаясь. Окружающий мир исчезает в сумеречном свете, проникающем не сзади, откуда вы вышли, а спереди. Коридор не широк, посреди тропа, в зоне которой немеет вся левая сторона тела очевидно, реакция двух встречных воздушных потоков. Немеет полностью, парализуя всю сердечно-сосудистую систему. Но у меня сердце справа, а не слева, к тому же я шёл, прикасаясь, вернее, прижимаясь вплотную к правой стене, невидимой, но упругой на ощупь. Всех исчезнувших я нашёл в коридоре, но почему-то не разложившимися.

— Может быть, они ещё живы? — спросил я.

— Нет, сердце не билось и дыхания не было. К тому же прошло столько времени, что говорить об оживлении их бесполезно. Трупы не разложились из-за, вероятно, стерильной обстановки. А умерли они потому, что у них не было сердечной аномалии, которая сохранила мне жизнь... Сохранит она жизнь и вам, если вы, приняв моё предложение, пройдёте по этому коридору туда и обратно в наш мир, к ожидающему вас авто на шоссе.

— Зачем? — спросил я.

Стон посмотрел на меня пронзительно и угрожающе: видимо, в том, что он собирался сказать, и заключалось самое главное — последний данайский дар.

— Чтобы получить пять тысяч монет, — отчеканил он.

Я по-прежнему ничего не понял. Научный эксперимент? Подготовка эпохального, равного эйнштейновскому, открытия? Тогда зачем четверо подручных, не только научно не связанных, но и различных по своему образованию людей? И для чего секретность эксперимента и необычайно высокий для участия в нём гонорар?

— Выйдя из коридора, — продолжал Стон, — вы попадёте в ограниченное пространство, вроде параллелепипеда с закруглёнными углами, этак метров четыреста, на сто, чуть побольше стадионов в Лондоне и Мюнхене, оформленного скалами и утёсами вместо трибун, травы и неба. А вместо солнца ярчайший свет из каждого утёса или скалы, словно в них были источники света мощностью в несколько тысяч ватт. Вы едва не ослепнете от нестерпимого блеска, онемевшая левая нога не позволит вам идти дальше, и вы хлопнетесь, как и я, на россыпи острых хрустальных осколков на клочке земли вроде фермерского садика по своим размерам. Сознания вы не потеряете, но увидите нечто другое, не то, что вас окружает, — это вы рассмотрите после. Я, например, увидел сначала ленту как бы из цветных стеклышек, сумбурную и пёструю, вроде живописи абстракционистов, потом — реальность, живую человеческую жизнь, фактически свою жизнь от рождения до смерти, вернее, до путешествия в этот каменный сверкающий кокон. Не скажу вам, что это приятно. В моей жизни было немало дней и часов, о которых не хочется вспоминать, а галлюцинация воспроизвела их с полным совпадением ощущений. Вот почему я не иду сам вторично, а посылаю других, которые, как и я, могут пройти. Может, у вас была более спокойная и не трудная жизнь, вспомнить которую даже приятно; если нет, мужество и бесстрашие, конечно, необходимы. Воспоминания иногда болезненны, потому я и плачу так много.

В комнату без стука тихо, как кошка, вошёл или, вернее, скользнул широкоплечий, коренастый, похожий на отставного боксёра человек в модном клетчатом пиджаке и палевых брюках. Седоватый, коротко стриженный ёжик волос, как и у Стона, не говорил о молодости, но лоснящееся лицо его без единой морщинки никак уж не принадлежало старцу. А его оливковый цвет явно выдавал южанина, как и густые чёрные, словно подкрашенные брови над маленькими глазками-льдинками, смотревшими прямо, не избегая вашего взгляда.

— Привет, мальчики, — сказал он, плюхнувшись в кресло напротив, — я всегда вхожу без стука, хотя постучать есть чем. — Он выразительно оттопырил боковой карман пиджака, в котором сверкнула синяя сталь пистолета. — Надеюсь, не помешал деловому разговору?

Стон чуть-чуть скривил губы, явно не слишком довольный этим самочинным вторжением, однако недовольства не показал. Вежливо улыбнувшись, он тотчас же представил меня:

— Берни Янг. По специальности физик. Веду переговоры по нашему делу.

— Сердце справа? — спросил клетчатый, не называя своего имени.

— Харрис считает, что он подходит по всем данным.

— Интеллигент? — не то спросил, не то констатировал клетчатый.

Я обозлился:

— Вы не ошиблись, синьор безымянный.

— Синьор, это верно. Так меня звали в Палермо, а то, что безымянный, так ты, мальчик, ошибся. Джакомо Спинелли знает весь город. — И отвернувшись от меня, как будто бы меня и не существовало вовсе, он по-хозяйски скомандовал Стону: — Значит, четвёртый. Народу хватит. Пора начинать.

— Начнём, — согласился Стон.

— Чтоб я знал день и час. Ясно? Без моих парнишек всё равно не управитесь. Сколько нужно?

— Четверых хватит. Плюс две машины. День и час сообщу, как условились.

— Ладно, — сказал клетчатый и встал так же бесшумно, как и вошёл. — А ликвидированных интеллигентов, милый, — обратился он ко мне, — у меня больше десятка по списку. И ни одного процесса. Вот так.

Он вышел, не прощаясь со Стоном, и даже не обернулся. Я не выдержал:

— Кто же руководит экспериментом, вы или этот тип?

— Я бы не стал так говорить о Джакомо Спинелли, — заметил, опустив глаза, Стон. — Он получает шесть-семь миллионов в год одних дивидендов, не считая биржевых операций. А из этой суммы не менее четырёх миллионов наличными.

— Из какого же мешка он их черпает?

— Из тайных игорных домов, игральных автоматов, бильярдных и баров. Нет ни одного заведения в Леймонте, которое не отчисляло бы львиную долю Джакомо Спинелли.

— Какое же отношение он имеет к науке?

— К какой науке? — не понял Стон.

— Я полагаю, что до сих пор шла речь о вашем научном открытии.

Стон даже не улыбнулся, он просто заржал, если так можно выразиться о человеке, мне прямо в лицо.

— Вы идиот, Берни! Действительно, Джакомо прав: трудно с интеллигентами. Ведь я вас посылаю совсем не для того, чтобы вы, четверо, подтвердили моё открытие какого-то супер- или гиперпространства. Наоборот, если вы хотите воспользоваться пятитысячным гонораром, вы должны молчать, как мертвец. Иначе вы им и станете. Джакомо Спинелли отправил на тот свет не один десяток людей. И вы сами слышали: ни одного процесса! Примете вы или не примете моего предложения, вы должны молчать даже о том, что от меня услышали. Во-первых, вас засмеют, а во-вторых, с вами может случиться несчастье: подколют где-нибудь в переулке или нечаянно собьёт въехавший на тротуар грузовик. Потому я и откровенен с вами, Берни, что не боюсь огласки.

— За что же вы платите непомерный по нынешним временам гонорар, Стон? — спросил я.

— За то, чтобы каждый из вас вынес чемодан с хрустальными осколками, на которых вы проваляетесь несколько часов в этом диковинном гиперпространстве. Очнётесь, набьёте осколками чемодан и вернётесь назад к «ведьмину столбу» на шоссе. И никакого баловства с камешками. Парнишки Спинелли вас обыщут, возьмут чемоданы и доставят вас в контору на Мейсенской улице. Там вы и получите свои пять тысяч чеком или наличными. И болтать не станете. У доктора Харриса, кроме кардиограммы, хранится и энцефалограмма — запись нервной деятельности вашего мозга. А запись эта подтвердит, что вы болтун, враль, фантазёр, человек с неустойчивой психикой. Так что, если вы и сболтнёте что-нибудь в вашем институте или в газетах, я привлеку вас к суду за клевету и процесс выиграю. И это ещё в лучшем для вас случае, интеллигент Берни Янг. Вот так, как говорит мой друг Джакомо Спинелли.

— Пять тысяч, — машинально проговорил я.

— Совершенно точно, Берни. Можете их мысленно уже заприходовать.

— А если я откажусь?

— Получите только сто за процедуры у доктора Харриса. И забудьте обо мне. Только зачем же отказываться от пяти тысяч?

— Timeo danaos et dona ferentes! — процитировал я без перевода.

— Латынь или греческий? К сожалению, не знаю, Только, по-моему, не стоит пренебрегать моим предложением. Вы подходите. Нервная система в порядке: коридор пройдёте без труда. Когда о галлюцинациях предупреждают, они не столь беспокоят. Чемодан небольшой, хотя и вместительный. А до репутации Эйнштейна вам всё равно не дотянуться. Даже газеты предварительно обратятся ко мне. А учёные? Вы же знаете наших учёных. Тут вам ни Лобачевский, ни Эйнштейн не помогут.

Я помолчал. Логика Стона обезоруживала. Если я расскажу о нашем разговоре, скажем, в «Леймонтской хронике», то вместо дискуссии в научных кругах меня в лучшем случае ожидает койка в психиатрической клинике. Ведь кроме так называемых научных традиций, верных Эвклиду и Ньютону, есть и миллионы Стона, и «парнишки» Спинелли, и грузовики, что иногда сшибают прохожих, если те неосторожно ступают на край тротуара.

Я вздохнул и сказал:

— Я согласен на ваше предложение, господин Стон.

Он чуть-чуть приподнялся над столом с чарующей улыбкой банкира, принимающего вклад выгодного клиента.

— Я был уверен в этом, Берни. Умница. Только не слишком откровенничайте с будущими коллегами. Они знают только то, что необходимо знать, чтобы вынести чемодан на шоссе.

Берни Янг

Коллеги по эксперименту

Половина восьмого.

Вечер, когда город затихает перед уикендом.

Прохожих почти нет: магазины закрыты. Автомашин на улицах вдвое меньше: они уже увезли за город владельцев собственных вилл и коттеджей. Служащие сидят в пивных и барах или играют дома с детьми. Некоторые решают кроссворды — эти уже поужинали.

Поужинал и я с двумя молчаливыми «парнишками» в пиджаках с оттопыренным левым бортом, не отходившими от меня даже на полминуты. Мне разрешили только позвонить хозяйке меблированных комнат, объяснив, что я уезжаю по делам на несколько дней, а юридическая контора «Винс и Водичка» взялась оформить в институте мой отпуск. «Парнишки» молча довели меня до машины, один сел рядом, другой за руль.

— А вы не глухонемые? — поинтересовался я.

— Мы всё слышим и видим, а когда нужно, принимаем меры, — сказал сидевший рядом. — Только разговаривать не положено. Упражняйся в одиночку.

И это было всё, что он сказал за тридцать-сорок километров пути по шоссе к белому коттеджу с черепичной крышей и двойной оградой. Между первым и вторым её рядом, преодолеть которые без специальных приспособлений было бы нелегко, нас встретил яростный лай собак, свободно носившихся по огороженному пространству, видимо, для того, чтобы никто не мог пересечь его безнаказанно. За внутренней изгородью на пустой луговине, окружавшей коттедж с симметрично расположенными рядышком бассейном и теннисным кортом, никого не было, кроме двух охранников, таких же «парнишек», как и мои в машине. Один открыл ворота, щеголяя беззубой ухмылкой, — зубы ему, должно быть, выбили ещё в ранней юности; другой продолжал кейфовать в соломенном кресле у входа, рыжий и заросший, должно быть, и не знавший, что существуют на свете такие инструменты, как бритва и ножницы.

— Смена прибыла, — прошамкал беззубый, — теперь погуляем.

— Погоди. Ещё нагуляешься, пока хозяин не посвистит, — буркнул один из моих «парнишек». — Вот отведём гостя в положенные ему хоромы, а там уже будет видно, кто, где и куда.

Я молча вылез и пошёл к дому. Рыжий «зимовщик», даже не взглянув в мою сторону, только указал большим толстым пальцем на дверь. Меня провели по лестнице на второй этаж и не слишком вежливо просунули в одну из открытых белых дверей. Как только я вошёл, дверь закрылась, и я остался один в обстановке обычного гостиничного номера, какие снимают средней руки дельцы и актёры с ангажементом. Две комнаты с коврами и ванной, обставленные дорого и пёстро. Всё это я уже видел; только странный белый врез в стене — что-то вроде скрытого сейфа или бара — отличал комнату от сотен её гостиничных двойников. Я попробовал открыть врез-дверцу, и она легко подалась, обнажив металлическую пустоту примерно полуметровой ёмкости. Я закрыл её и подошёл к столу, на котором, кроме телефона, был и селектор, могущий связать меня в одиночку или одновременно с администратором, дежурной горничной, барменом и лицами под номерами от одного до пяти. Три из них светились, два были выключены. Я нажал кнопку с надписью «Бар» и услышал мелодичный голос динамика:

— Что желает господин Янг?

— Чёрный кофе без сахара и рюмку коньяку. — После обильного ужина с «парнишками» Стона есть не хотелось.

— Через три минуты откройте белую дверцу в стенке, и получите требуемое. Туда же вернёте пустую посуду.

Я так и сделал. Белый сейф подал мне по лифту из бара коньяк и кофе, и я мог наконец в одиночестве обдумать всё происшедшее.

И опять ошибся: «одиночество» не состоялось. В комнату без стука, как Джакомо Спинелли, и даже без условно принятых вежливых реплик вроде «разрешите», «можно», «извините, я на минуту», вошёл человек лет пятидесяти, а может быть, и моложе, судя по его внешнему виду: не сед, не лыс, не обрюзг, не ожирел. Только морщины у глаз и у губ свидетельствовали об извечной работе времени. Да и зубы вставные, сверкнувшие слишком белой пластмассой, не говорили о молодости.

— Нидзевецкий, — представился он, подойдя ближе, но не протягивая руки, — для друзей Стас. Отправляюсь вместе с вами сегодня-завтра зарабатывать по пять тысяч на брата.

— Садитесь, — сказал я, — здесь хороший французский коньяк. Сейчас закажу бутылку.

— Уже освоили? — усмехнулся он. — Но мне ближе к заветной кнопочке, — протянул руку к селектору и в ответ на вкрадчивый шёпот динамика скомандовал, как в строю: — Господину Берни Янгу требуется ещё бутылка и второй бокал... — А когда заказ был уже сервирован, соизволил наконец обратиться ко мне: — Вы хорошо знаете, куда и зачем нам придётся идти?

— А вы? — спросил я в ответ, помня предупреждение Стона не откровенничать.

Нидзевецкий ухмыльнулся, как школьник, подсмотревший ответ в подстрочнике.

— Честно говоря, я не верю в эту неэвклидову геометрию. Ни в четвёртое, ни в пятое измерение. Есть дырка в шахту, только замаскированная. Какой-нибудь оптический фокус. В определённый день определённого месяца, в определённый час на рассвете или на закате дырка эта видна простым глазом. Ныряй — и всё как в цирке, только без клоунов.

— Я тоже не верю, только не столь уж решительно, — сказал я. — Неэвклидовы геометрии есть и будут, а Эйнштейн опроверг и Ньютона. Так что, пока не пришлось нырнуть в эту дырку, не будем обсуждать её местоположение в пространстве.

Нидзевецкий погрел коньяк в кулаке и выпил. Он не выглядел ни пьяным, ни охмелевшим, только глубокие тёмные глаза его чуть блестели.

— Значит, учёный-физик Янг не собирается ставить никаких научных экспериментов, — процедил он не без иронии. — Его, как и нас грешных, интересуют только пять тысяч в местной валюте?

Я пожал плечами: ни спорить, ни поддакивать Нидзевецкому мне не хотелось.

— И физики и лирики одинаково в ней нуждаются.

— Я не лирик, — зло сказал Нидзевецкий, — я неудачник. Врач-недоучка, фельдшер. В армии не дослужился выше поручика. Потерял два литра крови, совесть, честь и надежду на будущее. На большее, чем прилично водить машину или сделать укол камфары умирающему, не способен. Не выучился.

— Так почему же вы не вернётесь на родину? — спросил я. — Там, говорят, легко найти и работу и уважение. В любом гараже нужен шофёр, в любой больнице — фельдшер.

— Не знаю, — вздохнул Нидзевецкий. — Засосало болото. Привык думать, что без денег ты никому не нужен. А тут сразу пять тысяч кредиток. Есть смысл рискнуть.

— И так же думают все наши коллеги?

— Гвоздь вообще ничего не думает — не обучен. Умеет стрелять без промаха или без выстрела — кулаком в переносицу, и добывать деньги у ближнего своего одним из этих двух способов. А за пять тысяч головой рискнёт, если есть шанс выжить. И у Этточки вы ничего не узнаете, хоть и говорит она на трёх языках, но так плохо на каждом и с таким угнетающим произношением, что смысл не улавливаешь.

— Кто же она по национальности?

— Этта Фин? Не знаю. Легче всего назвать её мисс Фин, но подойдёт и мадемуазель Фин, и фрейлейн Финхен.

Нидзевецкий залпом выпил бокал коньяка и налил другой.

— Много пьёте, — сказал я. — Военная привычка?

— Отчасти. А сейчас, если хотите честно, пью со страху.

— Перед экспериментом?

— Если называть это экспериментом. Пройти тридцать метров по коридору и вернуться обратно — как будто не так уж сложно. А странный односторонний паралич — в клинике, где я стажировался, называли его латеральным — вызывается обычно обмораживанием или кровоизлиянием в мозг. Стон уверяет, что это — воздействие пока ещё необъяснимой реакции двух встречных потоков воздуха. Но, сохранив сердце, не утратим ли мы какие-то клеточки мозга? Мне показалось, что у Стона, например, левое плечо отведено назад и жесты левой руки чуть-чуть замедленны.

— Преувеличиваете. Со Стоном я разговаривал около часа. Он вставал, двигался, закуривал, сбивал коктейли. И жестикуляция и походка его совершенно нормальны.

— Тогда почему он не идёт с нами?

— Чёрную работу он в состоянии предоставить другим.

— И заплатить за неё по пять тысяч?

Я не успел ответить. Нидзевецкий встал и, как мне показалось, с тоской взглянув на остатки коньяка в бутылке, молча повернулся и вышел не прощаясь. Я не остановил его: говорить нам было уже не о чём.

Не о чём оказалось говорить и с другими моими спутниками по предстоявшему путешествию, с которыми я встретился утром за завтраком. Гвоздь вообще молчал, поглощая еду в тройном против нормы количестве. Он походил на «парнишек» Спинелли, только был постарше и побогаче опытом. Коротко стриженный бобрик, шрам на лбу, обтянутые оливковой, кожей скулы и потемневшие протезы вместо выбитых когда-то зубов всё это подтверждали.

Этта была суха, замкнута и застенчива, на все вопросы отвечала: «да», «нет», «не знаю», «простите, не помню», «не видела», «не замечала». Вопросы задавал ей Нидзевецкий, видимо, для того, чтобы подтвердить данную ей вчера характеристику. Я же прислушивался не столько к её ломаному языку, сколько к интонациям и произношению.

— Не спрашивайте Этту о её национальности, — засмеялся Нидзевецкий. — Это тайна.

— Я просто не любить говорить о себе, — ответила Этта.

Фраза прозвучала неграмотно, но с хорошим произношением согласных и гласных. Ещё раньше, прислушиваясь к репликам Этты, я подметил не только нарочитое искажение этимологии и синтаксиса, но и знакомые языковые интонации. Зачем она это делала? Для самоизолирования и некоммуникабельности?

— Хорошо стреляешь? — вдруг спросил Гвоздь.

— Не знаю, — сказал я. — Давно не практиковался.

— Зря. Я на всякий случай захвачу с собой хлопушечку.

Этта, допив кофе, встала, не проявив к разговору ни малейшего интереса. У дверей я догнал её.

— Вы хорошо знаете язык, — сказал я, поклонился и прошёл мимо.

Через полчаса в мою комнату постучали.

Этта! Я не мог скрыть удивления.

— Я вам всё объясню, — сказала она, усаживаясь с ногами на диван. Сейчас она была простой и приветливой, без актёрства и отчуждённости. — Там я не могла говорить иначе. Отсюда и этот разгаданный вами трюк с ломаным языком.

— Вы плохо его ломали.

— Вероятно. Но разве они поймут? У меня нет и не может быть с ними ничего общего. Чем меньше слов — тем дальше от близости.

— Высокомерие не украшает человека, тем более учительницу.

— Это не высокомерие, а привычка с детства. Жизнь в мире хищников порождает насторожённость. «С волками жить — по-волчьи выть» — говорит поговорка. Но я хочу не выть, а быть готовой к отпору. В особенности на охоте за этими таинственными стекляшками.

— Чем же пленила вас эта охота?

— Тем же, чем и вас. Жалованье учительницы невелико, а гонорар Стона сказочный. Да и занятия ещё не скоро: в школе каникулы.

Она говорила откровенно, без принуждения. И я ещё добавил:

— Так, значит, в мире хищников для меня сделано приятное исключение?

— Я уже слышала о том, что вы физик, но и по лицу можно определить интеллигентного человека. Деньги вам нужны не для того, чтобы открыть ссудную кассу.

— Джакомо тоже это определил. Только с ухмылочкой.

— Кто это Джакомо?

— Торговый партнёр или хозяин Стона.

— Мне страшно, Берни. — Она впервые назвала меня по имени, я не возражал.

— Уже второй раз слышу это. Сегодня от вас, вчера от Нидзевецкого.

— Он боится опасностей путешествия.

— А вы? Таинственных стекляшек?

— Если хотите, да. Что это за камни-осколки, которые мы должны вынести из какой-то неведомой шахты? Судя по обещанному нам высокому гонорару, они сами по себе представляют большую ценность или их используют для каких-то очень важных опытов. Но каких? Может быть, опасных для человека, если добыча их обусловлена такой строгой секретностью? Вы над этим не задумывались?

— Нет, — честно признался я. — О другом думал. Мне любопытна сама география того гиперпространства, в которое нам придётся проникнуть.

— И вы верите в это гиперпространство? Нидзевецкий и Гвоздь не верят.

— Им обоим не хватает воображения.

Я посмотрел на Этту. Тоненькая, с каштановой чёлкой на лбу и большими синими глазами, она походила сейчас на студентку, которой предложили на экзамене непосильную ей задачу. А если я расскажу ей всё, что открыл мне Стон? Что последует? Отступит ли она перед Неведомым и откажется ли от похода, тем самым создав для себя и меня дополнительные трудности и опасности? С ней рассчитаются за отказ, со мной-за болтливость. А может быть, мой рассказ всё же зажжёт в ней огонёк любопытства?

И я рискнул, рассказав ей всё услышанное от Стона.

— А вы поверили? — помолчав, спросила она.

— Почему бы и нет? Вы ведь слышали о таинственных исчезновениях на Леймонтском шоссе? Их не сумели объяснить ни полиция, ни наука. А Стон объяснил. И довольно правдоподобно. Он даже видел неразложившиеся тела в неизвестном нам коридоре. И это объяснил. Убивающая воздушная струя одновременно создавала и стерильность среды, предохраняющую мёртвое тело от разложения. Возникновение невидимой щели-коридора — самое странное, но при некотором избытке воображения и это можно объяснить, отождествив её с невидимой горловиной или шейкой, соединяющей наше трёхмерное пространство с замкнутой ячейкой другого, лежащего за пределами привычных трёх измерений. Это легко обосновать математически, физически можно представить, а геометрии требуется проверка. Теперь о замкнутом хрустальном коконе и его осколках. Пожалуй, это самое интересное в предстоящем нам путешествии. Но прежде чем делать выводы, необходимо проверить данные. С этого и начнём.

— Фантастика, — всё ещё недоверчиво откликнулась Этта. — Возможно, мистификация.

— Объяснить необъяснимое может только учёный или фантаст. Стон ни то ни другое. Он делец. А какой делец будет платить по пять тысяч за мистификацию?

В глазах Этты я прочёл сомнение, колебание и наконец решение. Любопытство победило.

— Только будем держаться вместе, — сказала она. — Вы чуточку впереди, я — сзади. И не давайте мне отклоняться влево.

По дороге в неведомое

Этта Фин

После разговора с Берни я пожалела, что не рассказала ему всё о себе. Перед трудной и, может быть, страшной дорогой в Неведомое мы должны лучше знать друг друга — твёрже будет поддерживающая рука, яснее мысль. А я не рассказала ему, что я не англичанка и не американка по рождению, что отец мой жил в Германии и считал себя коренным немцем до тех пор, пока ревнители расовой чистоты не заставили его носить жёлтую звезду. Отца я не знаю — его застрелили в сорок втором году на улице охранники Кальтенбруннера, а родилась я несколько месяцев спустя уже в седьмом женском бараке Штудгофа, где содержались немки, не пожелавшие бросить мужей-неарийцев, и несколько десятков француженок и англичанок, застрявших в Германии до начала войны. «Враждебные иностранки» — так именовались они в списках концлагеря — помогли мне родиться, вырастили меня и выходили после смерти матери в сорок третьем году от заражения крови. К каким только ухищрениям ни прибегали они, часто подвергаясь смертельной опасности, чтобы сохранить в тайне моё существование от лагерной охраны, инспекторов и надсмотрщиков. Берлинская воровка Лотта, «капо» женского барака, была подкуплена, кормили меня все оптом, отдавая часть своего скудного лагерного пайка, англичанка-врач, хорошо говорившая по-немецки и потому допущенная на работу санитаркой в привилегированном госпитале для лагерного начальства, ухитрялась доставать молоко и нужные лекарства. И я всё-таки выжила без солнечного света и свежего воздуха, ничего не видя, кроме барачных нар и никогда не мытого бетонного пола. Небо и солнце, трава и лес были для меня такими же атрибутами сказки, как эльфы и гномы, да и жизнь на свободе казалась такой же сказкой, какую рассказывают на ночь, чтобы видеть счастливые сны.

Эти годы я помню смутно — человек редко помнит своё раннее детство, как бы тяжело оно ни было. Знаю только по рассказам приёмной матери, именно той англичанки-врача, которая сумела спасти меня от неминуемой дистрофии и которая после освобождения увезла меня с собой в Шеффильд. Так я стала англичанкой и по языку и по воспитанию, и всё детство моё, восьмилетнее и десятилетнее, о котором человек всегда помнит, было типично английским. Потом мы перебрались в Канаду, жили в Австралии, а затем — уже без матери, которая вышла замуж в Аделаиде за местного скотовода, — я скорее по воле случая, чем по выбору, очутилась здесь в роли учительницы частной леймонтской школы. Обо всём этом я так и не успела рассказать Берни Янгу: слишком короткой была наша встреча перед дорогой.

Дорога началась неожиданно, через два часа после завтрака, у меня в комнате, где я читала старый французский роман. Посошок на дорогу предложил мне сам господин Стон, снизошедший до столь ничтожной личности, как я. Он, как и полагается господину, вошёл без предупреждения, но с любезной улыбкой на синеватых губах и наполовину опорожнённой бутылкой шампанского-очевидно, где-то она успела уже побывать. Молча, почти священнодействуя, он наполнил два бокала на столе и, заметив мой французский роман, сказал по-французски:

— Садитесь, мадемуазель. Разговор у нас напутственный.

Я удивлённо присела.

— Вы удивлены, что я знаю французский? Старых международных бродяг обычно не стесняют языковые барьеры.

— Я удивляться не этому... — начала я привычно ломать язык.

— Может, будем разговаривать на вашем родном языке?

— Мой родной язык вам всё равно неизвестен.

— Ну хотя бы биография вкратце.

— Зачем? Самое интересное для вас в моей биографии — это сердце справа.

— Допустим. А что же вас удивляет?

— То, что вы с Олимпа спустились ко мне.

— На Олимп пойдёте вы. Хлебните шампанского — это подкрепит перед дорогой. Сейчас мы отвезём вас к энному столбу на Леймонтском шоссе.

— Одну? — спросила я.

— Не пугайтесь. Поедете с Берни Янгом. Подружитесь. Он наиболее интеллигентный из ваших спутников и потому наименее надёжный в достижении цели. Он может усомниться в реальности увиденного и неразумно вообразить невообразимое. Мне же нужны трезво мыслящие, разумные исполнители. Такие, как вы.

Мне почему-то не понравился его комплимент.

— Значит, мне, разумной, опекать неразумного?

— Именно. Я убеждён, что вы первая наполните свой саквояж. Янг, когда опомнится, сделает то же самое.

— А другие?

— За них я не боюсь. Это профессиональные авантюристы. Сделают всё и вернутся. Не скрываю: путь труден и конец его может смутить.

Стон смотрел на меня чуть прищурясь, как смотрят на лошадь покупатели, словно прикидывая: не прогадать бы.

— Сейчас выезжать? — оборвала его я, не притронувшись к бокалу с шампанским.

Он понял и встал.

— Вас уже дожидаются у машины.

Машин было две, стоявших гуськом у внешних ворот виллы: старенький «форд», в котором уже восседали с пустыми чемоданами Нидзевецкий и Гвоздь, сопровождаемые «парнишками» в выцветших джинсах и белых картузиках — один из них сидел за рулём, — и чуточку позади «мерседес» с шофёром в таком же картузике. Берни Янг меланхолично стоял у открытой дверцы автомобиля. Он предупредительно пропустил меня и сел рядом, оставив переднее место для Стона.

Но Стон и не собирался ехать.

— Дополнительное условие, Берни, — сказал он, придержав открытую дверцу, — если у вас возникнут какие-либо гипотезы об увиденном, не обращайтесь с ними ни к учёным, ни к репортёрам. Мы с Джакомо не любим газетной шумихи.

Захлопнув дверцу машины, он скрылся за оградой. А мы с Берни, так и не обменявшись впечатлениями, быстренько доехали до впервые увиденного мной «ведьмина столба», аккуратно обтёсанного и нисколько не устрашающего. Он был обнесён чугунной кладбищенской оградой с массивной, запирающейся калиткой. Открыв её, наш шофёр, по-видимому старший из «парнишек», втолкнул нас по очереди за ограду и, не входя, произнёс напутственно:

— Видите эту еле заметную туманную дымку в полуметре от столба? Смело шагайте в неё — и всё.

Первым шагнул ближайший к ней Берни и пропал. Это было так удивительно и неожиданно страшно, что я невольно замешкалась у колонки чуть замутнённого воздуха.

— Не задерживай, девка, — буркнул сзади Гвоздь и легонько подтолкнул меня в Неведомое.

Сначала был полумрак и протянутая назад ко мне правая рука Берни.

Она прижималась к чему-то невидимому, туго натянутому и упругому, как батут. Янг подхватил мою руку и потянул вперёд.

— Шагайте смело — под ногами никаких камней, нигде не споткнётесь. Так по крайней мере уверял меня Стон, — проговорил он каким-то свистящим шёпотом. — И главное, старайтесь не отдаляться от упругой невидимой «стенки». Чувствуете, как сзади что-то подталкивает нас вперёд? Это поток воздуха, должно быть, из нашего мира. Что-то гонит его — вероятно, разность давлений. Теперь отведите руку к центральному стержню прохода. Сильно дует навстречу, чуете? Это встречный поток из другого пространства. Опустите руку, старайтесь не попасть в стык двух потоков. Ближе, ближе к «стенке». Вот так. Думаю, пройдём благополучно. Чем мы хуже Стона?

Я сделала три-четыре шага и осмотрелась. Коридор был неширокий и тёмный. Не ночь, а вечерние сумерки сквозь туман или пыльную дымку. Берни обернулся и спросил:

— Плечо немеет?

— Немножко.

— Прижимайтесь к «стенке».

— Не торопитесь, ребята! — крикнул из темноты Гвоздь. — Лучше ползти, как черепаха, чем сдохнуть.

Мы прошли ещё несколько метров, и я чуть не упала, натолкнувшись на что-то, преградившее путь. Верни мазнул лучом электрического фонарика по земле и осветил трупы людей, похожих на восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Я зажмурилась: не могла смотреть.

— Вот они, исчезнувшие голубчики, — сказал сзади Нидзевецкий. — А мы, спасибо сердцу, ещё живём. Только левая рука у меня, кажется, отнимается.

Гвоздь, идущий за ним, только хмыкнул. Видимо, он не шёл, а полз по «стенке», широко переставляя ноги.

— Доберёмся, — сказал опять Нидзевецкий. — А ты, Гвоздь, ползи не ползи — всё равно здесь останешься. У тебя зад выпирает.

Впереди что-то светилось или, вернее, поблёскивало отражённым светом. Чем ближе, тем ярче. Мы осторожно обогнули труп лежавшей наискосок девушки — ещё одна не тронутая временем восковая фигурка. Я внутренне содрогнулась: Неведомое начиналось с кладбища.

Левую руку и плечо, несмотря на все мои ухищрения, я почти не чувствовала, их словно и не было. Берни впереди молчал, только наши крепко сцепившиеся руки напоминали о том, что мы ещё держимся. Двадцатый или тридцатый шаг — я уже их не считала, — ещё рывок, спешим, волочимся и наконец бросок в дневное окно впереди. Жестокий, как молния, свет ослепляет, я машинально, ничего уже не видя, делаю несколько шагов и падаю на что-то сыпучее и колкое, как щебёнка.

Так я провалялась минуты две или три, пока не прошло оцепенение, охватившее левую половину тела, — должно быть, я всё-таки не так глубоко врезалась в упругую «стенку» коридора, как это делал Берни. В первые секунды я ничего не чувствовала, потом мало-помалу острые камешки начали колоть левый бок, онемение проходило, и я даже сумела приподняться на локте и открыть глаза.

Меня окружал хрустальный сияющий мир, ломаная геометрия стекла, сверкавшего всеми цветами спектра, на которые оно разлагало исходивший от него свет. Солнца не было. Было только одно стекло или что-то похожее на него в причудливых формах каньона, замкнутого на себя вроде кокона, как охарактеризовал его Стон. И всё это горело и переливалось, ослепляя и подавляя, словно со всех сторон посылали свой свет тысячи ложных солнц. Я оглянулась кругом и поразилась, как это мы вошли сюда: ни входа, ни выхода не было видно.

— Убедились? — скривился сидевший на корточках Нидзевецкий. — Я уже давно это заметил. Сезам не откроется.

Гвоздь, валявшийся чуть поодаль, тоже открыл глаза, посмотрел вокруг и крякнул. Берни очнулся и сидел, приложив руку к глазам козырьком.

— Светит да не греет, — сказал он. — Обратите внимание: температура нормальная, даже прохладно. Градусов восемнадцать, наверно. А смотреть — глаза болят.

— Королевство кривых зеркал, — усмехнулся невесело Нидзевецкий. — Что ж будем делать?

Пустые наши чемоданы лежали рядом.

— Что делать? — повторил Гвоздь, указывая на чемоданы. — Что велено. Набивай и выноси.

— А куда? — ухмыльнулся Нидзевецкий.

Гвоздь, как и я, оглянулся кругом и обмер:

— Где ж это мы?

Никто не ответил.

— Обманул, гад, — прохрипел Гвоздь. — Вернусь — сочтёмся.

И опять никто не ответил. Стон был далеко.

Берни машинально набрал горсть блестящих камешков, пристально разглядел их и проговорил неуверенно:

— Похоже на бриллианты.

— Это и есть бриллианты, — сказал Гвоздь.

— Фальшивые.

— Стали бы нас посылать за фальшивыми и платить тысячи по курсу доллара. Алмазы чистейшей воды, только не гранёные.

— Я говорил вам, что это шахта, ловко загримированная. И алмазные россыпи в ней! — воскликнул Нидзевецкий.

Берни Янг грустно вздохнул:

— Вы ошибаетесь, Нидзевецкий. Ни в Южной Африке, ни в России нет таких шахт. Алмаз — это особая кристаллизация угля в условиях высоких давлений. Они не встречаются в этаких россыпях. Их добывают из-под земли.

— А может быть, мы и находимся под землёй?

— А свет? — спросил в ответ Янг. — Откуда под землёй источник такого яркого, я бы сказал, немыслимо яркого света?

И опять молчание. Если физик не находил объяснения, что могли сказать мы? Каждый набрал такую же горсть хрустальных осколков или алмазов, по мнению Янга, и разложил их на ладони. В них не играло отражённое или скрытое солнце, но после обработки любой из них мог бы украсить витрины самых дорогих ювелиров мира.

А тут началось нечто ещё более удивительное.

Вся изломанная поверхность окружавшей нас хрустальной пещеры, вернее, её цветовая окраска пришла в движение. Гиперболы, параболы, зигзаги и спирали, по-разному окрашенные и недокрашенные, бесформенные пятна и невероятные геометрические фигуры, вычерченные скрытым источником света, побежали во все стороны, сливаясь, сменяя, сгущая и перечёркивая друг друга. Мне даже показалось, что в этой движущейся цветной какофонии был какой-то скрытый смысл, какая-то разумная повторяемость тех или иных цветовых комбинаций. Ведь даже веками непонятную египетскую клинопись расшифровал в конце концов человеческий разум. Но такого разума среди нас не нашлось, хотя Берни и подхватил мою рискованную и, вероятно, неверную мысль.

— В этой пляске светящихся красок и линий, пожалуй, есть какая-то система, — сказал он.

— Вздор, — возразил Нидзевецкий, — только глаза болят от этой пляски.

Гвоздь вообще тупо молчал, прикрывая глаза руками.

— Ещё ослепнешь, — прибавил Нидзевецкий — и тоже закрыл глаза.

Но мы с Берни, хоть и щурясь, смотрели.

— Вон, глядите: эти синие и малиновые спирали опять повторяются и этот пятнистый кратер справа, — сказал Янг.

— Добавьте и эту голубую штриховку по жёлтому, — подметила я.

— А что, если это сигналы?

— Чьи?

— У меня есть одна сумасшедшая идейка, Этта, я, кажется, уже говорил вам...

— Пришельцы? — издевательски хихикнул Нидзевецкий.

— Не говорите глупостей! — вспылил Берни. — Какие пришельцы? Просто мы в другом мире, где свои законы и своя жизнь.

— Бред, — фыркнул Нидзевецкий и уткнулся лицом в россыпь сверкающих камешков.

— Сигналы, — повторил Берни, — может быть, даже речь...

— Вы не преувеличиваете? — осторожно спросила я.

— Не знаю.

Прищурясь, Гвоздь сплюнул на камни.

— Кончай трепотню, — выдохнул он со злобой. — Не о том думаешь. Как выбираться будем, подумал?

Он посмотрел на сжатые в кулаке осколки и сунул их в карман. Тут же все краски неэвклидовой геометрии кокона потускнели и стёрлись. Остался только лучистый бриллиантовый блеск.

В глазах у меня потемнело, несмотря на хрустальное сияние вокруг.

— Что происходит? — с какой-то странной интонацией спросил Берни.

— Пейзаж меняется, — сказал Нидзевецкий.

Этта Фин

Лагерная рапсодия

Пейзаж действительно менялся у нас на глазах. Как в кино одна картина медленно наплывала на другую, стирая её очертания и трансформируя облик. И мы уже не лежали на сверкающей россыпи. Мы шли. Шли по рыжей выцветшей глине, укатанной вместе со щебёнкой дорожными катками. Шли между двумя рядами перекрещивающейся колючей проволоки... Шли к воротам, за которыми виднелось серое приземистое двухэтажное здание, возглавлявшее такие же серые, но уже одноэтажные и безглазые ангары или бараки. Сияющий хрустальный кокон исчез, за бараками низко висело однотонно-свинцовое небо. Я даже не помнила, когда мы поднялись с россыпи и куда исчезли Нидзевецкий и Гвоздь. Мне почему-то казалось, что мы с Берни только что вышли из машины, которая осталась где-то позади, куда не хотелось оглядываться, тем более что ожидавшие нас ворота уже раскрывались с тяжёлым железным скрипом, а из будки справа навстречу шёл не то солдат, не то офицер в чёрном, хорошо пригнанном мундире и с большой свастикой на рукаве... Боже мой, в каком фильме я это видела?

Я посмотрела на Берни, которого ощущала рядом, но не оборачивалась к нему, и у меня буквально подкосились ноги. Он был в таком же чёрном мундире, с такой же свастикой и в фуражке с высокой тульёй, которая бог знает уже сколько лет мозолила глаза на экранах кино.

— Почему ты в этом мундире, Берни? — спросила я.

— А ты в каком?

Я оглядела себя и увидела сапоги, чёрную суконную юбку и чёрный рукав такого же мундира, как и на Берни.

— Ничего не понимаю, — прошептала я.

Может быть, мне это объяснит подходивший к нам солдат с автоматом?

— Аусвайс! — потребовал он.

Мы с Берни машинально, даже не подумав, с синхронностью автоматов извлекли из карманов мундира служебные удостоверения и предъявили охраннику. Тот прочёл, сверил лица по фотокарточкам и крикнул ожидавшему позади патрулю:

— Гауптштурмфюрер Янг и шарфюрер Фин следуют в канцелярию начальника лагеря. Пропустить! — Он повернулся к нам и взметнул руку. — Хайль Гитлер!

— Зиг хайль, — небрежно козырнул в ответ Берни и пошёл вперёд к двухэтажному корпусу за патрулём. По бокам тянулась переплетённая в несколько рядов колючая проволока. Кроме патрульных с автоматами, ничто живое не возникло на вытоптанном плацу между серыми, как пыль, бараками.

И тут я сообразила. Подсознательная память воспроизвела в сознании то, чего не могла запечатлеть память сознательная. Мы были в Штудгофе, где я родилась и провела первые годы жизни до занятия лагеря американцами. Провела под нарами, не зная, что такое земля, трава, цветы, облака, небо, где это самое небо заменяли мне подгнившие доски нар, под которыми меня прятали от надсмотрщиков и охранников. Я не запомнила этот мир, память детства началась уже в Англии, куда меня вывезла моя приёмная мать, врач-кардиолог Джанетта Фин. Окончание её имени — Этта — и досталось мне: разноязычным и разноплемённым узникам легче было его выговорить. В доме мамы Джанетты никогда не говорили о лагере и страшных годах моего раннего детства, я никогда и ничего с этим связанного не видела — ни снимков, ни зарисовок Штудгофа, — и всё же я узнала его в том, что сейчас увидела. Даже сам этот мир был только галлюцинацией, но то была моя галлюцинация, и Берни был не в своём, а в моём отражённом мире, вполне реальном, хотя в чём-то смещённом, остраненном в каких-то своих аспектах, как живая суть в полотнах сюрреалистов. Именно таким остраненным и был гауптштурмфюрер Янг, возникший здесь по прихоти моей галлюцинации, но движимый какими-то собственными, не понятными мне побуждениями.

— Ты бывал здесь когда-нибудь?

Он дико взглянул на меня.

— Когда? При Гитлере мне было всего восемь лет.

— Но у тебя звание гауптштурмфюрера, — продолжала я тупо, не понимая, что говорю.

Но он ответил совсем уже неожиданно:

— Оно мне пригодится, Этточка. А ты не находишь, что этот охранник у дверей странно похож на одного из «парнишек» Спинелли?

«Парнишка» с автоматом у входа поднял по-гитлеровски руку, но вместо положенного «хайль» произнёс, глотая гласные:

— Хозн двно ждёт пркзал прводить.

— Давно ждёт? — переспросил Берни. — Тем лучше. А провожать не надо. Стой где положено. Обойдёмся без ликторов.

Он пошёл вперёд так быстро, что я еле успела догнать его у дверей кабинета.

— Ведь это моя галлюцинация, Берни, — остановила я его. — Моя, — подчеркнула я твёрдо. — Почему же ты действуешь независимо?

— Потому что не ты запрограммировала свою галлюцинацию, — отрезал Берни, совсем чужой, не ласковый и внимательный Берни, каким я знала его накануне.

Он толкнул белую дверь кабинета и вошёл. Я не увидела ни секретарей, ни сторожевых собак, ни охранников, только где-то (будто в тумане) в стороне — жирное человеческое лицо, лоснящееся и прыщавое, с чёрной чёлкой на лбу и глазами-маслинами над кривым носом. Лицо скривилось и хихикнуло.

— Кто это? — пролепетала я.

— Джакомо Спинелли, — равнодушно ответил Берни и махнул рукой.

Лицо исчезло, и туман исчез, обнажив огромный письменный стол, за которым сидел в своём обычном костюме и в больших дымчатых очках... Стон.

— Шарфюрер Фин нервничает, — сказал он.

Я не столько нервничала, сколько находилась в состоянии «грогги», как сорвавшаяся со снаряда гимнастка, которая уже не знает, что чувствует.

— Где камешки, Берни? — строго спросил Стон.

Берни вытряхнул из кармана горсть осколков, какие мы видели на бриллиантовой россыпи.

— Все? — спросил Стон.

— Все, — сказал Берни.

— Джакомо! — позвал Стон не вставая.

Джакомо Спинелли в таком же чёрном мундире со свастикой, какой носили и мы, запустил руку в горсть рассыпанных камешков.

— Хороши хрусталики, — восхитился он с дрожью в голосе.

— Выплати ему, как уговорились, пять тысяч, — сказал Стон.

— Никаких денег, — отрезал Берни.

— А что?

— Вернера.

— Какого Вернера?

— У вас в лаборатории при втором бараке находится заключённый Вернер, — твёрдо сказал Янг.

— Предъяви ему Вернера, — согласился Стон.

Джакомо пропал и вновь возник через какую-то долю секунды с исхудалым человеком в полосатой куртке лагерника. Единственное, что делало его человеком, были глаза, смотревшие из-за чудом уцелевших очков.

— Разговаривайте, — разрешил Стон.

— Я пришёл освободить вас, профессор.

Исхудалый человек молча пожал плечами.

— Я не знаю вас и не верю вам, — наконец проговорил он.

— Мы работаем вместе в институте новых физических проблем в Леймонте, — сказал Берни.

— Вероятно, этот человек сошёл с ума, — был ответ.

— Но вы же основали этот институт.

— Я не знаю такого института.

— Всё, Берни, — сказал Стон, прекращая, очевидно уже ненужный, диалог. — Пусть Вернер пройдёт все круги ада, которые ему остались до прихода союзников.

И Вернер исчез.

— Ваша очередь, Этточка, — сказал Стон.

Я не поняла.

— Камешки, камешки, камешки, — нетерпеливо пояснил Стон, — очистите ваши карманы, шарфюрер Фин.

Я сделала то же, что и Берни, высыпав все хрустальные камешки из карманов.

— Есть стоящие, — похвалил Спинелли, перебирая их несгибающимися пальцами. — Что же вы хотите за них — иллюзию или валюту?

— Иллюзию, — сказала я. — Хочу видеть Джанетту Фин из седьмого барака.

— Повтори аттракцион, Джакомо, — зевнул Стон. — Предъявляй.

И перед нами возникла мама Джанетта, какой я запомнила её в детстве, только исхудалая и побелевшая от малокровия и недоедания, в чисто выстиранном, но заплатанном, испачканном и прожжённом химическими реактивами халате лагерной санитарки.

— Вы не узнаёте меня, мама Джанетта? — спросила я, зная, что задаю совершенно бессмысленный и ненужный вопрос.

— Боюсь, что фрейлейн принимает меня за кого-то другого, — услышала я заранее известный мне ответ.

— Я же Этта, мама, только взрослая и в неподходящем костюме.

Англичанка в халате санитарки брезгливо сделала шаг назад:

— Боюсь, что фрейлейн действительно в неподходящем костюме. А может быть, я ошибаюсь, и костюм самый подходящий для этого заведения? — Слова «неподходящий» и «подходящий» она подчеркнула не без иронии.

— Я принесла вам свободу, Джанетта-мама, — сказала я. — Можете взять с собой кого захотите. Ведь у вас же есть кто-нибудь, кого бы вам хотелось вырвать отсюда.

У Джанетты вдруг загорелись глаза.

— Я не знаю, о какой свободе говорит фрейлейн эс-эс, но мне уже знакомы многие формы свободы в гестапо. Я предпочитаю остаться в лагере.

— Сеанс окончен, — сказал Стон. — Остаются ещё двое.

— Давай.

И столь же чудесно в комнате оказались Нидзевецкий и Гвоздь в том же виде, в каком я запомнила их на хрустальной россыпи. Нидзевецкий с перекошенным от страдания лицом пытался подняться на четвереньках с пола, а Гвоздь равнодушно ухмылялся, даже не пытаясь ему помочь.

Берни шагнул было к нему, но его остановил Стон.

— Минутку, Янг. Где камни, Нидзевецкий? — спросил он.

— У меня его камни, — сказал Гвоздь.

— Я опять полз на брюхе от немецких танков, — пробормотал Нидзевецкий, — не могу пережить это вторично!

— Благодарите своих соотечественников в Лондоне, — улыбнулся Стон, обнаруживая знание политической ситуации на Западе во время второй мировой войны.

— Червоны маки на Монтекассино... — не слушая его, не то пропел, не то прохрипел Нидзевецкий и упал ничком.

— По-моему, он уже мёртв, — сказал, склонившись над ним, Берни.

Он опять стоял на алмазной россыпи. Стон и Спинелли пропали вместе со столом, нас окружал по-прежнему сверкающий кокон.

Нидзевецкий, как и две минуты назад, поднялся и простонал. Неужели ожил? Но я ошиблась. Сцена повторилась, как в переключённом магнитофоне.

— Червоны маки на Монтекассино... — снова хрипло пропел Нидзевецкий, точь-в-точь как и раньше оборвав строчку.

— По-моему, он уже мёртв, — повторил, склоняясь над ним, Берни.

— Почему вы всё повторяете? — истерически закричала я. — Мы только что всё это видели.

— Это? — удивился Берни. — Я вижу и слышу всё это впервые.

— Но ведь две, всего две минуты назад...

Он не дал мне закончить.

— Две минуты назад мы с вами, Этта, видели нечто другое.

Новое в кристаллографии

Берни Янг

Я действительно видел другое.

Сначала бриллиантовый кокон погас, потом побелел и сузился до узкого белого коридора леймонтского института новых физических проблем. В конце коридора темнела дверь лаборатории профессора Вернера, и к этой двери неспешно шагал я. Неспешно, но сознательно. Без всякого удивления от изменившейся обстановки, без малейшего ощущения неожиданности, а как бы движимый заранее обдуманной мыслью и предвиденным ходом событий. Не открывая двери, я прошёл сквозь неё прямо к сутулой спине Вернера, разговаривающего с портретом молодого Резерфорда.

— Не мешайте, — сказал Вернер.

— Не могу, — сказал я.

— На работе я не общаюсь с живыми, — сказал Вернер, по-прежнему не оборачиваясь.

— Знаю, — сказал я, действительно зная, что дверь лаборатории Вернера всегда на замке. — Но это сильнее меня.

— Нельзя, — отрубил Вернер.

— Бывают случаи, когда в словаре нет слова «нельзя».

Вернер в белом халате наконец обернулся, очень похожий на парикмахера. Узкое лицо его ещё более сузилось, почти достигнув двухмерности. Чёрная повязка на вытекшем левом глазу превратилась в рассекающую профиль диагональ. Эта повязка и треугольное тавро на щеке остались у него от лагерных дней в Штудгофе, куда загнал его Гейдрих.

— Покажите словарь, — сказал он.

Вместо ответа я положил на стол блистающий камешек величиною с орех.

— Что это? — спросил Вернер.

— Бриллиант, огранённый самой природой.

— Мне он не нужен.

— Вы ошибаетесь. Он нужен мне и вам (мы перебрасывались репликами, как шариком настольного тенниса), он нужен человечеству.

Кажется, я выиграл подачу: в глазах Вернера мелькнул тусклый огонёк интереса.

— Нужно исследовать строение и физические свойства его кристаллической решётки, — пояснил я.

— Я уже давно оставил кристаллофизику, — сказал Вернер.

— Поскольку мне помнится, — отпарировал я, — тема вашей диссертации рассматривала кристаллизацию вещества в условиях сверхвысоких давлений.

— Не точная формулировка. Даже не болтовня первокурсника. Дремучее невежество.

— Если вы должным образом исследуете его кристаллическую решётку, — я ткнул пальцем в камешек на столе, — вы, может быть, увидите чудо. Если вы поймёте его, то сделаете открытие, возможно даже более дерзкое, чем открытия Ньютона и Эйнштейна.

Вернер посмотрел на молодого Резерфорда. Казалось, портрет ободряюще подмигнул.

— Конкретно: направление исследования. Что предлагаете? — спросил Вернер.

— Что может предлагать дремучий невежда? Скажем, открыть новую науку, родную сестру кристаллофизики.

— Точнее?

— Биокристаллофизику.

Вернер ещё более сузился. Сейчас он мог бы жить в двух измерениях.

— Вы думаете, это... живое? — недоверчиво спросил он, посмотрев камень на свет.

— Думаю. Может, оно было живым. И даже более — разумным.

— А вы не сошли с ума?

Я только пожал плечами.

— А где же мы найдём средства для исследований? Здесь, к сожалению, это невозможно: воспротивится учёный совет института.

— Мы найдём противоядие. У меня есть ещё камешки.

Я наскрёб в кармане и рассыпал по столу горсть алмазных орешков поменьше, не повысив вернеровского любопытства ни на полградуса. Он только скользнул своим единственным глазом по рассыпанным хрусталикам и подождал разъяснений.

— Мы реализуем часть их на ювелирном рынке и создадим свою лабораторию для исследований.

— Не выйдет, — хохотнул откуда-то взявшийся Стон.

И меня опять это не удивило, как, впрочем, и Вернера.

— Почему? — спросил он, не повышая голоса.

— Потому что бриллианты добыты в моей шахте, на моей земле.

— Это не ваша шахта, это другой мир, господин Стон, — сказал я, — и это совсем не бриллианты.

— Это вы мне говорите, мне, единственному монополисту торговли драгоценностями в Леймонте. Леймонтского ювелирного рынка уже нет, это мой рынок, Янг. Теперь вы не получите ни камней, ни обещанных пяти тысяч.

— Вы украли у меня не пять тысяч, а пять миллионов, — сказал я.

— Может быть, и больше, — хихикнул Стон.

— Мне не надо ваших миллионов, Стон, — проговорила выступившая из гнездящейся у стен темноты Этта Фин, — у меня тоже есть камни.

— Советую их сдать моим «парнишкам», фрейлейн.

— Твоих «парнишек» уже нет, — сказал ещё один голос. — Они у «ведьмина столба» остались. Троих пришил.

Загадки возникали одна за другой. На этот раз — Гвоздь и Нидзевецкий. У Гвоздя — автомат, крепко прижатый к бедру.

— У меня здесь не миллионы, а миллиарды, — усмехнулся Гвоздь, тряхнув чемоданом. — А им и горсточки хватит, — добавил он, кивнув на меня с Эттой, — пусть строят свою лабораторию.

Стон, не отвечая, воззрился на Нидзевецкого:

— А где же ваш чемодан, Нидзевецкий?

— Меня здесь нет. Я остался там, в шахте.

Смутные стены лаборатории Вернера раздвинулись и снова засверкали далёкими и близкими гранями кокона. Нидзевецкий лежал ничком на алмазной россыпи, впиваясь дрожащими пальцами в похрустывающие осколки.

— Я опять полз на брюхе от немецких танков, но не могу пережить это вторично! — с трудом выдохнул он.

С последним усилием он приподнялся на руках и не то пропел, но то всхлипнул:

— Червоны маки на Монтекассино... — Свистящий вздох его оборвал строчку.

Я склонился над ним, приложил ухо к груди. Сердце его молчало.

— По-моему, он уже мёртв, — сказал я.

— Почему вы всё опять повторяете? Это же не кино! — вскинулась Этта. В глазах у неё прыгали сумасшедшие искорки. — Ведь только две, две минуты назад мы всё это слышали!

— Разве? — удивился я. — Я вижу и слышу всё это впервые.

— Но ведь вы же были со мной, рядом!

— Конечно. Но видели мы с вами нечто другое.

— И я, — засмеялся Гвоздь. — Представьте себе, тоже видел. Без вас, правда, но видел.

Сводятся кое-какие старые счёты

Хуан Термигло по кличке Гвоздь

Вот именно, что без вас. Куда только делись вы, не знаю. Оглянулся назад — никого, вынырнул на божий свет — тоже никого. Один «ведьмин столб», выгоревший на солнцепёке. А у столба — машина. Вроде бы тот же «форд», на котором сюда приехал, а вроде бы и не тот. Обошёл я кругом — ни души. Ни второй машины, ни «парнишек». Заглянул в окно к шофёру — баранка на месте, всё остальное чин чином, только ключей нет. Как же, я думаю, тебя открою, коли у меня тоже ни ключей, ни отмычек. А дверь вдруг сама собой открывается — не рывком, не с отмаха, а вежливо, с приглашением. Должно быть, «форд» новый, с программным управлением, автоматический. Фотоэлемент какой-нибудь или реле: подошёл, включилась механика, и дверца раз-два — и готово!

А тут ещё голос, приятный такой, ласковый, как у адвоката, которого хочешь нанять за хорошие денежки. Неизвестно, откуда голос, только явственно приглашает: садитесь, мол, и чемоданчик не забудьте.

Ну, чемоданчик, набитый каратами, за которым меня Стон на смерть гонял, чемоданчик этот, понятно, я не забыл, между ног поставил и развалился позади пустого водительского кресла. А дверца сама собой мягко захлопнулась, и «форд» газанул, словно за рулём сидел шофёр первого класса, к высоким скоростям привыкший, как гонщик на Кот д'Азюр.

— А куда же мы едем? — спрашиваю.

— На этот вопрос мне отвечать не положено. Едем, куда программа предписывает, и будет всё как стёклышко — в общем, порядок.

Может быть, он и не так говорил, джентльменистее, вроде аристократа или директора банка, это я так пересказываю, потому что не обучался говорить книжно, да там, где обучали меня, даже Библию не раскрывали, только руку на неё клали, когда на суде подводили к присяге.

— А вы кто же будете? — спрашиваю. — Инженер-невидимка?

— Зачем, — говорит, — просто автомобиль. Машина с программным управлением и с переводом на ручное, если пассажиру захочется.

— Компьютер? — Слово это я уже знал и произнёс небрежно.

— Если хотите, да, только с ограниченным диапазоном мышления. Вы, конечно, не понимаете, что такое ограниченный диапазон мышления. Ну как бы вам сказать поточнее: привезти-отвезти, поговорить по-хорошему, показать, что захочется пассажиру.

— А мне, — говорю, — ничего не хочется, я город этот как облупленный знаю. Немало делов тут понаделано.

Да, много хороших делишек, за которые в сумме — вышка, не меньше, но в Брюсселе мне пластическую операцию сделали, в нос горбинку вставили, подбородок заострили, на висках кожу подрезали, отчего они вглубь запали. Совсем другим человеком стал — не Хуаном Термигло, которого Интерпол по всему шарику разыскивал, а Гвоздём без фамилии — это так меня у наёмников в Анголе прозвали, чёрт меня туда занёс, должно быть, для практики, чтобы не забывал о дешевизне человеческой жизни. Это он догадался засунуть мне сердце не слева, а справа, отчего вынесла меня нелёгкая на «ведьмин столб», с которого и началось нисхождение в Мальстрем. Нидзевецкий так наш поход называл; книжный был человек, жаль, что хоть справа сердчишко было, а не выдержало. Камни кругом, как реклама ночью, горели, да не просто горели, а пытали нас светом, как говорят, в гестапо пытали, да и в нашей контрразведке у наёмников в португальской Анголе. Я-то привычный — вынес, а поляк погиб в конце концов, всё немецкие танки вспоминал: должно быть, пятки тогда горели.

А в Леймонте у меня немало дружков было... Слава богу, никто не узнал, даже Спинелли. Как-никак в «парнишках» у меня ходил, когда мы вчетвером ювелирную лавочку брали: «Франциск Тардье, самые дорогие в Леймонте кольца, серьги, ожерелья, кулоны». С неё всё и началось. Пока мы с Гориллой и Кэпом прикрывали отступление, Джакомо весь багаж в неизвестном направлении увёз; Гориллу прошила автоматная очередь, Кэп влип, а я еле-еле на полицейском мотоцикле ушёл. Ну, а дальше всё проще простого. «Парнишек» моих Джакомо перекупил, двухмиллионной выручкой поделился с кем нужно, а мне пришлось пластооперацию делать, чтобы полицейские в Европе на меня не заглядывались.

Пришло наконец время сводить старые счёты, пришло... В моём чемодане не два и не пять, а полсотни миллионов, если на глазок считать, а то и более выйдет. Уж я-то знаю. Слава богу, не интеллигент вроде этого лопоухого физика, могу чистый бриллиант отличить от стекляшки — столько их в своё время через мои руки прошло. Пусть без огранки, природа огранила их так, что красоту да подлинность даже полуслепой увидит. Ну, а профессиональных гранильщиков я найду; где искать, знаю не хуже Стона: догадываюсь, почему бывший карточный шулер всех в Леймонте в кулак зажал, даже Плучек-банкир, говорят, с ним первый раскланивается. Ничего, посчитаемся и со Стоном. Хуан Термигло и не таких припечатывал.

Тут машина моя останавливается прямо у лестницы беломраморной, широченной и с колоннами, как в Италии. Что кругом, не видно, только лестница да колонны, а там, где лестница поворачивает, серебряные рыцари в латах на страже стоят.

Слышу, как дверца, мягко щёлкнув, открывается и голос почтительно приглашает:

— Проходите, господин Гвоздь. Приехали. Прямо по лестнице. Вас ждут и проводят.

Оглядываюсь, никто меня не ждёт, пальмы да кактусы, синее небо, как в Акрополе, а серебряные стражи гремят металлическими доспехами и металлическими голосами:

— Человек с чемоданом подымается наверх. Пропускать без вопросов.

Я всегда мечтал о такой автоматической жизни. Чтобы двери сами собой открывались, без лакеев и без охранников, мелодично и с музыкой или добрыми пожеланиями; чтобы лестницы, как эскалаторы, сами подымались и опускались, вежливо и дружелюбно подталкивая вперёд; а если идёт враг, чтобы невидимые дула брали его на мушку и молниеносные очереди без промаха отправляли его на тот свет. В моём действительном мире кулака и беззакония, пистолетов и полицейских, фальшивых документов и фальшивых друзей, бешеных денег и бешеных волков с автоматами о такой автоуправляемой жизни можно было только мечтать. И ребячьи мечты взрослого профессионала-мошенника расплатились со мной этой удивительной лестницей с разговаривающими дверьми, которые, приветствуя, почтительно направляли меня в кабинет шефа.

И вот наконец последняя дверь и её предупреждающее напутствие:

— Шеф ждёт. Поставь у входа чемодан, когда войдёшь; руки на затылок, когда сядешь.

Стон сидел за столом, похожим на саркофаг, с седым зачёсом над тремя морщинами, рассекающими лоб, не старый и не молодой, а много, много поживший. Колючий взгляд его недобро встретил меня и не отступил, хотя у меня самого в глазах столько злости, что на семерых хватит. Но Стон смотрел не столько зло, сколько безжалостно, ледяной взгляд прокурора или судьи, уверенного в том, что приговор присяжных будет: виновен. На то, что я чемодана у дверей не оставил и рук на затылок не положил, он не обратил внимания, только спросил:

— А где остальные?

— Не следил, — говорю, — к столбу не вышли. Я один как был, так и приехал. Машина сама открылась, завелась, газанула да ещё поговорила о том о сём.

Говорю об этом так, между прочим, словно ничего удивительного тут нет и говорящая автомашина для меня штука обычная, вроде магнитофона. И Стон тоже не удивляется и равнодушно, будто я ему не миллионы, а старые бутылки принёс, кивает на дверь: чемодан, мол, отдай Джакомо Спинелли, а гонорар получишь, как договорено.

— Есть оговорочка, — поправляю я его, — договаривались о стёклышках для науки, а в чемодане алмазы для огранки. Потому и расчёт будет другой.

— О расчёте, — говорит, — разговаривать надо с Джакомо, я ему все дела передал. Как он скажет, так и будет.

А я смеюсь и похлопываю по автомату под мышкой: будет, мол, как я скажу, а с Джакомо у меня старые счёты: авось разберёмся.

И тут стена поворачивается, как на шарнирах, и передо мной уже другой стол, а за столом не Стон, а Джакомо Спинелли. Меня он не узнал, как и в первый раз, когда я по объявлению пришёл. Мы-то с ним одногодки, обоим под сорок, только я за эти семь лет разлуки в худобу подался, а он обрюзг. Из-под обтяжной трикотажки жиры выпирают кольцами, как автопокрышки, положенные одна на другую. Сидит передо мной этаким живым Буддой и с моего чемодана, как удав с притихшего кролика, глаз не сводит.

— Полный? — спрашивает.

— Полный, — говорю.

— Пять тысяч твои, — радуется он, — как в банке. Хочешь чеком, хочешь наличными.

— А сколько ты взял за товар, который мы семь лет назад с витрин у Тардье увели?

— Не помню, — говорит, — такого случая.

— А я тебе напомню. Два миллиона моих ты взял плюс долю Гориллы и Кэпа. Вот и настало время баланс подвести.

Он даже осел, как тесто, которое встряхивают.

— Термигло?

— Он самый, — говорю.

— Не похож.

— А мне, — говорю, — в Брюсселе другую фотокарточку сделали. — И тут мне смешно стало, как его жиры-шины от страха заёрзали.

Впрочем, он быстро оправился.

— Всё равно, — говорит, — тебе не жить, Термигло. У меня сила, у меня деньги, на меня все твои «парнишки» молятся и весь город в кулак зажат. Оставь чемодан, бери десять тысяч и уходи, пока я не передумал.

— Как же я уйду, — говорю, — когда я семь лет об этой встрече мечтал. Ночи не спал, всю эту сцену играл, репетировал до утра, до рассвета.

— Ну и отыгрался, — хохочет он, — ты же под мушкой сидишь. А двинешься, так две встречные автоматные очереди сразу прошьют — вздохнуть не успеешь. У меня и нога на спусковом механизме.

Я знал, что он не блефует — кибернетика. Только у меня мозги в голове, а у него овсянка. На спусковой механизм он нажал, но поздно. Лишь мгновение, доля секунды, спасительная долечка понадобилась мне, чтобы нырнуть под стол. Ноги мои были уже на полу, как две обещанные очереди грохнули, встретились и отрикошетили от пластмассовых стен. И под аккомпанемент их я сильно дёрнул на себя завалившееся в кресле тело. Джакомо даже не сопротивлялся, он просто ничего не понял, не успел понять до моего рывка, стащившего его под стол-саркофаг. И тут я зажал пальцами его горлошину. Он уже не дышал.

Не подымаясь, я отшвырнул ногой чемодан к двери, проверяя, не заговорят ли замаскированные огнестрельные дула. Но кибернетика на этот раз не сыграла: направленность выстрелов была однозначной, да и спусковой механизм уже не действовал. Тогда я вылезаю из-под стола и вижу... Нидзевецкого, распластанного на алмазной россыпи.

Он явно умирает, ему не хватает воздуха. Наклоняюсь к нему и слышу его любимую строчку о червонных маках на Монтекассино.

— Он уже мёртв, — заключает растрёпанный интеллигент-физик.

Девчонка плачет.

А надо не плакать, а бежать. Кто знает, а вдруг то, что мне почудилось, возьмёт да получится. Я оглядываюсь и вижу тёмную дыру выхода в нескольких метрах от нас. Не задумываясь, набиваю чемодан камешками с россыпи — и кто их рассыпал здесь, как гальку на пляже? — и бегу.

— Выход, — кричу, — выход открылся! Не зевай, сердобольные! Труп всё равно с собой не потянешь...

Добежал и нырнул в знакомую дымку прохода.

В родном пространстве

Этта Фин

Я обернулась. Гвоздь, спотыкаясь и подпрыгивая, неловко бежал от нас по хрустящим осколкам. Бежал к тёмному облачку, похожему на дым от костра, какой бывает, когда мокрые сучья только дымят, а не разгораются. Мамочка моя! Да ведь это и есть выход, о котором он только что кричал, набив полный чемодан хрусталиков или алмазов. А я с Берни и внимания не обратила на эту его выходку. Берни даже не оглянулся, прижался ухом к груди Нидзевецкого, словно всё ещё надеялся, что в нём не угасла жизнь.

— Берни, — позвала я. — Гвоздь бежит к выходу.

— К выходу? — не понимая, откликнулся он. — К какому выходу? Отсюда? Ты думаешь, это выход?

— А если да?

Берни растерянно оглянулся на мёртвое тело товарища: что, мол, с ним будем делать? Я пожала плечами. Мёртвого не воскресишь. А тащить его по этому страшному коридору, прижимаясь к упругой «стенке», всё время стараясь уберечь себя от встречной воздушной струи? Сумеем ли?

— А что же делать? — спросил Берни.

— Ты уверен, что он мёртв?

— Теперь да. Сердце остановилось. Ни дыхания, ни пульса нет.

— Так похороним его здесь. Засыплем этой хрустальной щебёнкой.

Так мы и сделали, торопясь и всё время оглядываясь, не исчезло ли облачко. Но серый дымок от невидимого костра в десяти метрах от нас всё ещё неподвижно висел, едва касаясь сверкающей под ним россыпи.

— Гвоздь полный чемодан ими набил, — сказала я, бросив на могилу последнюю горсть алмазов; тогда я всё ещё не знала, как называть эти похожие на неотшлифованные бриллианты камешки.

Берни с сердцем отшвырнул свой чемодан ногой.

— А мы не будем! Я тебе потом скажу, что это за камни. Боюсь, что сходство с бриллиантами, хотя и полное на первый взгляд, всё-таки кажущееся. Я взял с собой для исследования горстку.

Я тоже сунула в карман жакета несколько камешков покрупнее, и мы побежали к дымчатому облачку, в котором только что исчез, буквально растаял Гвоздь. Оно сомкнулось и вокруг нас, но исчезли уже не мы, а всё окружающее с почти невыносимым блеском хрустальных скал, уступов и россыпей, заменявших здесь и небо и землю. Мы же увидели знакомый тёмный тоннель с упругими, почти неощутимыми «стенами», к которым нельзя было прижаться, но в которые можно было вдавиться, втиснуться, как в поролоновый ковёр, отвечавший мягким, упругим сопротивлением, едва вы ослабляли ваши усилия. Два встречных воздушных потока шли в том же направлении: слева — встречая нас, справа — легонько подталкивая сзади. Ощущение было то же, как и тогда, когда мы вошли в этот тоннель из нашего пространства и времени, словно эту длинную кишку повернули на сто восемьдесят градусов, и сердце снова спасало нас от участи остаться здесь навсегда. Я филолог, а не естественник и потому даже не пыталась искать объяснений этому феномену, столь же загадочному, как и всё происшедшее.

В полутьме коридора Гвоздя уже не было видно, должно быть, он спешил, не оглядываясь и не окликая нас, торопясь скорее добраться до выхода. Но Берни не спешил. Удивительно чуткий и внимательный человек. Даже в самых необычных и рискованных ситуациях он прежде всего стремится помочь товарищу. Кто я ему? Не жена, не дама сердца — случайный попутчик, не больше, а он, прежде чем броситься в глубь коридора, взял меня за руку и сказал:

— Не торопись. Осторожность прежде всего. Прижимайся вплотную к «стенке», втискивайся в неё, дави — и так шаг за шагом. Не выпускай моей руки, мне будет трудно помочь тебе, если отстанешь.

Так мы шли, казалось, не минуты — часы. Я ни о чём не вспоминала, ничего не предполагала, ни на что не рассчитывала. Только ползла по странно зыбкой «стене», как улитка. Впереди так же полз, переступая с ноги на ногу, Верни; я не слышала его слов-может быть, он и не говорил ничего, — только чувствовала судорожное, застывшее сжатие руки. Где-то впереди вдруг грохнул выстрел. И тут же другой, третий, мгновенная автоматная очередь. Гвоздь? Или в него? Мы ничего не видели, кроме смутного тумана впереди, прикрывавшего едва заметное окошечко дневного света.

— Гвоздь? — спросила я.

— Не уверен, — не сразу откликнулся Берни, он всё ещё прислушивался.

Снова автоматная очередь, потом ещё одна, только глуше, отдалённее. С какой стати расстреливать одного человека из нескольких автоматов? Может быть, идёт бой? Равный или неравный?

— Видимо, они укокошили его, — сказал Берни.

— Зачем? — удивилась я.

— Убрать свидетеля. Чемодан взяли, а труп промолчит о сокровищах «ведьмина столба», да и пять тысяч кредиток останутся в кассе.

— Значит, и нам грозит та же участь?

— Возможно, — подумал вслух Берни. — У нас есть шанс выжить, если остаться у выхода, не переходя в наше пространство. Не у самого выхода, конечно, а подальше, где не достанут пули. Войти же внутрь никто не решится.

— Оставят охранников.

— Может быть, и оставят. Тогда попробуем продержаться дотемна. Охранники тоже люди — в конце концов сон свалит. Пошли.

Ещё медленнее мы двинулись к выходу. Парализующая воздушная струя до сих пор не коснулась нас — ни одна мышца не онемела. Через трупы близ выхода мы перебрались, не отрываясь от «стенки». Прислушались: тихо. Берни, оставив меня, подполз, буквально подполз по земле — я говорю так просто по привычке, потому что грунт под нами не был ни землёй, ни камнем, ни искусственным покрытием вроде пластика, — подполз к отверстию, сквозь которое уже просматривался пресловутый «ведьмин столб», и выглянул снизу наружу. «Сейчас грохнет», — подумала я, но выстрела не последовало.

— Сюда! — крикнул Берни и выскочил из коридора. Я — за ним.

Тут же мы чуть было не упёрлись в деревянного ведьмина стража за чугунной оградой у края бетонной ленты шоссе. Коридор, из которого мы только что вышли, уже растаял в земном воздухе над высушенными луговинами, ограждёнными ржавой колючей проволокой. Чуть поодаль стоял привёзший нас «мерседес», а позади него в лужицах уже застывшей и порыжевшей крови лежали двое «парнишек», срезанных автоматной очередью. В этот момент они, должно быть, в ожидании нас «заправлялись» виски из пузатой бутылки, стоявшей в открытом багажнике машины. Водитель её, наполовину вывалившийся из открытой дверцы, был убит, вероятно, второй очередью, которую мы слышали в межпространственном коридоре. Стрелял только один человек — Гвоздь, отнюдь не оборонявшийся, а нападавший и выигравший бой, видимо, без «потерь». Во всяком случае, вторая машина Стона, стоявшая рядом — след от неё виднелся на обочине шоссе в примятой колёсами пыли, — теперь исчезла в неизвестном нам направлении. Гвоздь даром времени не терял.

— Всё ясно, — сказал Берни, — у нас имеется только один выход: воспользоваться оставленным нам «мерседесом».

— Так нас же наверняка обвинят в убийстве или в соучастии.

— Всё равно обвинят — и пеших и конных. Пока мы доберёмся до ближайшего полицейского управления, а идти туда часа два, не меньше, трупы будут уже обнаружены и полиция предупреждена. Нас возьмут «тёпленькими» прямо на дороге и церемониться не будут: вся полиция в городе на жалованье у Спинелли.

— Что же делать?

— Скрыться где-нибудь ненадолго и обдумать случившееся. Времени у нас мало: шоссе блокируют — и конец. Хорошо ещё, что «мерседес» на ходу.

Мы вытащили тело водителя на дорогу и рванули в сторону от Леймонта. Чем дальше — тем лучше, пояснил Берни, нарвёмся на пост, и доказывай потом, что отсиживались в известной только Стону межпространственной связке. Говорил Берни мало, вёл машину на полной скорости, не отрывая глаз от дороги. Я вообще ни о чём не расспрашивала, хотя замысел Берни был для меня неясен.

Я сказала ему об этом.

— Почему не ясен? — проговорил он, не оборачиваясь ко мне. — Одна у нас надежда, одна-единственная. Ни Стон, ни Спинелли не заинтересованы в том, чтобы ознакомить человечество с тайной бриллиантовых россыпей. Им важно вернуть чемоданы, они считают, что мы их похитили. А виновник убийства им и так известен: профессиональная работа, не особенно их встревожившая. Гвоздь «свой», с ним и расправиться безопаснее и договориться легче. Ну, а с нами сложно: чемоданов нет и тайна — не тайна. Что предпринять? Вот над этим кроссвордом сейчас они голову и ломают. А у нас свой кроссворд с той же загадкой: что делать? Только где мы его решим, где?

— Остановись за песчаным карьером, — сказала я, — километра за три от разработок. Мотель там прогорел и закрыт, но машину поставить есть где. Кстати, дорога там разветвляется и проследить наш путь будет не так-то легко. Попутных и встречных машин предостаточно, так что можно ускользнуть на любой и в любую сторону.

Берни обогнал цистерну с молоком, пропустил встречную гоночную с итальянским флажком и, скосив глаза, усмехнулся:

— У тебя в запасе ещё вариант.

— Ты уверен?

— Слишком многозначительны эти «любой» и «любую». Не умеешь хитрить. На какой бы машине мы ни удрали, нас всегда найдут. Ты забыла о телефоне и радио.

— А я и не имела в виду машины.

— Я так и думал.

У меня «в запасе» действительно был ещё один вариант. Прошлым летом во время каникул я давала уроки английского языка художнику Чосичу и даже гостила у него в летней резиденции — коттедже не коттедже, а просто в деревянной хижине на одном из здешних лесных склонов. «Бунгало», как почтительно называл её художник, не охранялось ни заборами, ни решётками, а единственным ночным стражем был огромный чёрный ньюфаундленд с человеческим именем Славко, зловещего вида пёс, весьма недоброжелательный к незваным гостям. Сейчас художник был за границей, «бунгало» дичало в пыли и безлюдье, а пса кормил проезжавший по утрам почтальон из Леймонта.

— Как добраться до хижины? — спросил Берни, выслушав мой рассказ.

— Тут же у мотеля мост через горную речушку-ручеёк. Машину мы обычно оставляли в гараже — сейчас он пустой, — спускались к ручью и шли километра три-четыре по берегу до склона с редкой дубовой рощицей, а за ней к сплошным зарослям кустарника, полностью скрывающим приземистую лесную хижину. Добраться до неё можно по тропинке-лесенке, где каждый обнажившийся корень-ступенька, и по незаметной снизу дорожке через кусты к самому крыльцу.

— Неужели почтальон каждый день проходит все эти километры, чтобы покормить пса?

— Зачем? Он едет на велосипеде. По верху склона совсем рядом — просёлок.

— В хижине есть кто-нибудь?

— Никого.

— А собака?

— Меня она помнит.

Берни долго молчал, что-то обдумывая. Мотель был уже за поворотом дороги.

— Оставим «мерседес» в гараже, как ты предлагаешь, — сказал он, — но спустимся к речке не сразу. Сначала потопчемся на развилке: если возьмут наш след, пусть думают, что мы дожидались попутной или встречной машины. Потом снимем обувь — и вниз к ручью. Воды в нём достаточно?

— Летом он обычно пересыхает, но теперь шли дожди.

— Тогда пойдём по воде. Дно не вязкое?

— Галька.

— Порядок, — повеселел Берни. — Собаки нам уже не страшны, кроме твоего Славко.

— Славко я беру на себя, — сказала я.

Решаем кроссворд

Берни Янг

Речушка за мотелем почти высохла, но воды в ней всё же оказалось достаточно, чтобы скрыть наши следы от полицейских. Пусть думают, что мы уехали на попутной машине — или вернулись в Леймонт, или умчались от него куда подальше. Нам же раздумывать не приходилось: тропинка-лесенка действительно ползла в гору к зарослям можжевельника, пробившись сквозь которые, мы очутились перед низенькой бревенчатой хижиной с широченным дощатым крыльцом-верандой под черепичным навесом.

— Стоп, — остановила меня Этта, — ни шагу дальше, — и свистнула.

Из-под крыльца выползло нечто огромное, чёрное, мохнатое и, приникнув к земле для прыжка, зарычало.

— Славко! — крикнула Этта. — Славко, Славочка!

Мохнатое существо прыгнуло, но не яростно, а с восторженным собачьим визгом и чуть не свалило Этту, положив ей лапы на плечи. Спустя секунду оба катались по траве, обнимаясь и взвизгивая.

— Свой, Славко, свой! — предостерегала Этта, указывая на меня. — Шагай, Берни. Он не тронет.

Славко любезно пропустил меня вперёд и даже хвостом повилял из вежливости. В хижине всё было аккуратно прибрано, хотя и припорошено густым слоем пыли. В шкафу солидный запас сухих галет и консервов. Этта откуда-то выудила бутылку коньяку, кофе сварили на спиртовке и зажгли свет.

— А неплохо отдыхал твой Чосич, — сказал я. — Здесь вся его резиденция?

— Нет, комнаты для гостей рядом. Дверь за мольбертом, в углу.

— Уютное гнёздышко.

— Не о том говорим, Берни.

— Не о том, — лениво согласился я.

От кофе и коньяка меня совсем разморило — говорить не хотелось. Да и о чём говорить? О том, что осталось позади, или о том, что будет с нами, если нас сцапают? Так я и сказал Этте.

— О будущем после. Найдут нас не скоро — время есть. А вот то, что осталось позади, объяснить надо. Это самое важное, — отрезала Этта.

— Как объяснить необъяснимое?

— Ты же учёный. Физик.

— Моя физика не занимается гиперпространством. Я даже не знаю, как ещё назвать этот бриллиантовый кокон. То, что он за пределами нашего пространства, нам ясно, хотя способ входа совершенно необъясним: дыра в воздухе, абсолютный нонсенс. Геометрия коридора как будто тоже ясна, хотя вещество его основания и «стенок» загадочно. То ли это силовые поля, то ли уплотнённый слой атмосферы, сказать трудно. Трудно понять и смену воздушных потоков по пути туда и обратно. Стон правдоподобно объяснил причину гибели всех пропавших у «ведьмина столба»: левый встречный поток смертелен. Но почему этот смертельный поток, который на обратном пути должен был стать попутным и правым, снова становится левым и встречным? Поворачивается коридор вокруг центральной оси? Зачем?

— Для того, чтобы выйти, как и войти.

— Кто же об этом заботится?

— Не знаю. Не могу себе даже представить.

— У меня есть одна идея, — замялся я, — бредовая, безумная нильсборовская идея, достаточно безумная, чтобы претендовать на истинность. Почти немыслимая. Почти, — подчеркнул я.

— Почему?

— Потому что были факты, странные факты, необъяснимые, ирреальные, но в совокупности её подтверждающие. Во-первых, приспособленный для входа и выхода коридор, во-вторых — сны. Даже не сны, а наведённые галлюцинации, слишком реальные для сновидений, запрограммированные, я бы сказал, даже с одной для всех программой.

— Но мы видели не одно и то же.

— Мы очень кратко рассказали тогда о том, что мы видели. Расскажем подробнее.

Рассказали.

— Не находишь однолинейность виденного? — спросил я.

Этта задумалась.

— Всё, что связано с камешками?

— Не только. Моделировались как бы наши мечты. Моя о привлечении Вернера к разгадке увиденного. Вернер химик в прошлом и со смелостью оригинальных решений. Я, вероятно, подсознательно стремился к разгадке тайны уже после беседы со Стоном. Бриллиантовый мир извлёк это стремление из подсознания.

Этта всё пыталась меня перебить.

— Но я же ни о чём не мечтала! Шла с тупым страхом перед неизвестностью.

— А разве ты не мечтала когда-то о выходе из Штудгофа? Из ада под нарами? Из мира погибающих заживо?

— В раннем детстве — да. Жалела мать больше, чем себя. Но всё это было в далёком прошлом. Я даже не вспоминала о нём, тем более в нашей акции.

— Но мечта осталась. Где-то в тайниках подсознания. Кто-то вынул её и смонтировал с настоящим, сознательным, личным. Оттого в лагере с тобой появились все мы — и я, и Гвоздь, и Стон, и покойный Нидзевецкий. Они возникли и в моём сне, лишь в других фантастических связках.

В глазах Этты отразились растерянность и непонимание. Мне стало жаль её. Строгий рациональный мир её не допускал ничего ирреального. И я знал, что вызову в ней ещё большее смятение мыслей и чувств, когда расскажу всё до конца.

— Ты сказал о мечте, что кто-то вынул её из тайников моего подсознания. Ты не обмолвился?

— Нет. Я именно это имел в виду: извлёк из твоего подсознания.

— Кто?

Я решил начать издали.

— А ты помнишь, что предшествовало нашим видениям? Помнишь игру красок и линий в нашем сверкающем коконе? В этой смене цветовых и геометрических форм была какая-то закономерность. Что-то повторялось, как в математических формулах или в наскальных рисунках. Потом всё исчезло, и заговорили мы.

— Во сне?

— Нет. В искусственно моделированных ситуациях.

— Слишком туманно. Кто же модельер?

— Разум.

— Наш?

— Нет.

Она не понимала. Но как объяснить этой по-своему умной, образованной, но рационально ограниченной женщине то, что требовало большой смелости воображения? Как рассказать, что, по моему разумению, загадочный бриллиантовый кокон-это существо, а не вещество. Не хаотическое нагромождение гигантских кристаллов, излучающих и отражающих свет, но мёртвых, как всякое кристаллически твёрдое тело, а структура живая и мыслящая, разум, быть может находящийся на более высокой ступени, чем человеческий. Может быть, жизнь в этом земном варианте развивалась не в комбинациях биологических растворов, а в эволюции сверхплотных кристаллических систем. А какие у меня доказательства, кроме предположений, которые вроде бы всё объясняют? Но какой трезвый рациональный ум, вроде Этты, поверит в гипотезу, не подкреплённую авторитетом науки, для которой главное — факты, а не аргументы, не убеждающие в истине.

И Этта не поверила.

— У тебя слишком пылкое воображение, Берни. Где ты нашёл следы жизни?

— Я искал не следы жизни, а следы разума. И я их нашёл.

— В цветных волнах, пятнах, искрах и брызгах? Бред!

— Может быть, — уступил я. — Мне так показалось.

Она вынула из кармана несколько камешков и бросила их на деревянный стол. Они звякнули, как любые камни, только обычно тусклая алмазная поверхность их в свете настольной лампы засверкала бриллиантовой огранённостью. А что, если их огранить специально?

Но Этта не заинтересовалась проблемой огранки.

— И это, по-твоему, живые существа?

— Не знаю, — вздохнул я. — Посмотрим, что дадут специальные исследования.

— Какие?

— Может быть, структурный анализ с помощью жёсткого рентгено-излучения. Может быть, микроисследования срезов или какие-то особые реакции. Спроси у химиков.

— Бред, — повторила она, подбросив поблёскивающие камешки на ладони. — Камни и камни. Пусть драгоценные, но мёртвые, как любой камень вульгарис. Не двигаются и не размножаются, ничего не поглощают и не выделяют.

— А ты уверена? Ведь это только осколки более массивных образований. Гигантских при этом. Может быть, это уже кристаллоорганика.

— Да тут нет ничего похожего на живую клетку. Откуда же разум?

Трудно спорить с человеком, лишённым воображения. Этта не могла перешагнуть за пределы общепринятого здравого смысла. Ну как ей объяснишь, что мышление, память, творчество отнюдь не прерогатива только человеческого мозга и что можно допустить существование мыслящей материи и в других формах? Я попытался сделать это, но увы — бесполезно.

— Фантастика, — проговорила она с возрастающим раздражением. — Почему ты не пишешь романов?

— Я не художник.

— Ты сумасшедший. Ведь разум — основа любой цивилизации. А цивилизация — это комплекс. Наука, искусство, техника, социология — мало ли ещё что.

— Мало. Всё это только искусственная среда жизнедеятельности, созданная человеком. А если среда замкнута на себя и не нуждается в искусственных надстройках?

— Я не могу с тобой спорить, Берни. Не подготовлена, не хочу.

— Просто у тебя нет воображения, девочка. Отдадим камешки Вернеру, а там посмотрим.

— Интересно, когда это будет? — съязвила она.

И тут нам обоим стало ясно, что мы забыли о главном, о чём забывать было нельзя. Несколько часов прошло со времени нашего бегства. Вероятно, трупы уже давно обнаружены, Спинелли и Стон предупреждены, и нас ищут по всей трассе от Леймонта до Пембертона — городишки в семидесяти километрах южнее. Прочёсывают мотели, бары, кафе, гостиницы и вокзалы. На квартире у нас — засада, в моём институте и в школе Этты — дежурный пост. У касс аэропорта шныряют сыщики. В эфире и по телефонным проводам гудят приказы, расспросы, рапорты, донесения. Выходить из «бунгало» Чосича преждевременно и опасно — все дороги кругом блокированы.

— Не все, — предполагает Этта, — едва ли они подумали о просёлке.

— Просёлком воспользуемся завтра, — решаю я. — Ажиотаж поисков к утру выдохнется. Будет легче проскользнуть в институт — постового утром, должно быть, сменят, а может, и совсем снимут пост: глупо предположить, что мы с тобой сунемся туда, где найти нас легче лёгкого. А мы именно так и сделаем. Только пешком будет далековато.

— У Чосича есть велосипеды, — вспоминает Этта.

— Тогда рискнём.

Разогретый на спиртовке консервный гуляш стынет. Сказать просто: доедем на велосипедах. Сначала по просёлку через хуторок Кесслера, а затем по северо-восточной фермерской дороге в Леймонт. Велосипедистов там много. Возможно, и не обратят внимания на двух туристов с рюкзаками, в стареньких ковбойках и джинсах — этого добра, ещё раз вспоминает Этта, на чердаке у Чосича навалом. Преступники, преследуемые полицией, используют автомашины, а не «велики». Но ведь любой полицейский может приметить и остановить. А дальше?

Старинные часы с боем, заведённые и поставленные по моим ручным, бьют одиннадцать. Даже коньяк не рассеивает тревоги.

«Мы просчитались, Джакомо»

Яков Стон

Проводив путешественников в Неведомое, Стон вернулся к себе очень довольный. Он взвесил и подсчитал всё без ошибки, как электронно-вычислительная машина. Четыре чемодана бриллиантов — это уже фантастическое богатство. Владеть им полностью невозможно — не дадут. Но Джакомо Спинелли не опора в борьбе за мировой рынок. Требовался компаньон другого делового калибра: с крупным капиталом и международными связями. Такого компаньона он уже нашёл и только ждал ответа на своё предложение.

Плучек позвонил ровно в полдень.

— Я согласен, господин Стон.

— Отставим «господина». Условия?

— Акционерное общество со смешанным капиталом.

— Отлично.

— Погодите. Не только.

— Что ещё?

— Контрольный пакет акций...

— Но...

— Я ещё не кончил. Контрольный пакет мы разделим между нами двумя.

— А Спинелли?

— С него достаточно четверти. Больше не стоит. Подсобное хозяйство.

— Он не так плохо обеспечивает сбыт.

— Для города, но не для мира. В машине он вполне заменимая деталь. Учтите это на будущее.

— Пока не обеспечены рынки, его можно попридержать.

— Подумаем. Кстати, о сбыте. Если мы выпустим в продажу только треть товара, цены упадут впятеро. И не только на камни. Полетят акции всех алмазных россыпей на планете.

— Даже в этом случае мы останемся в выигрыше. Важны рынки.

— Я обеспечу вам крупнейшие — амстердамский и лондонский.

— А заокеанские?

В трубке смешок.

— Не спешите. Доберёмся и за океан. Подготовку вам одному не поднять. Я обеспечу финансирование без ограничения кредитов. Устраивает?

Стон вытянулся, как на параде.

— Вполне. Есть вопросы?

— Скорее, просьба. Я знаю источник ваших миллионов. Не тревожьтесь, я не претендую на изменение нашего соглашения. Но там тела и моих мальчиков. Я бы хотел похоронить их по-человечески.

— Пока это трудно, — отрезал Стон. — Экспедиция рассчитана только на извлечение товара.

Тихий вздох в трубке.

— Вы правы. Товар важнее.

Прошло ещё два часа. Стон уже нервничал. Даже обедая у Шуайеза, он не соблазнился эффектами французской кухни. Филе фазана с шампиньонами едва ковырнул вилкой. Спинелли не было.

Только без четверти три он появился в пёстром клетчатом костюме с видом боксёра, выходящего из душевой после нокаута. «Нет вкуса у подонка, — подумал Стон. — Так одеваются только крупье и клоуны. Только почему он скис?»

Спинелли подозрительно отвёл глаза.

— Скотч, — кивнул он официанту, плюхнувшись на затрещавший под ним стул, — двойной. Неудача, Стон.

— В чём? — насторожился Стон. — Что-нибудь с нашими агентами?

— С нами.

— Не говори загадками! — вспылил Стон.

— Не я их загадываю, — огрызнулся Спинелли. — Трое лучших моих парнишек валяются убитыми на шоссе. «Ведьмин столб» на месте, только калитка открыта. А машин нет.

— Каких машин?

— Твоих. На которых газанули наши сердечники.

— Все?

— Не знаю. Может, кто и остался. Спросить не у кого.

Только сейчас дошёл до Стона зловещий смысл происшедшего. Четыре чемодана алмазов. Десятки и сотни миллионов, может быть даже больше. Контрольный пакет акций. Бриллиантовая монополия в строю нефтяных и военно-промышленных. Имя Стон, звучащее, как Ротшильд. Золотые строки в сборниках «Кто есть кто». И всё пропало... Чепуха! Не могут бесследно исчезнуть сокровища, пусть даже втиснутые в обыкновенные чемоданы. Леймонт не Чикаго. Найти четырёх любителей кладов не составит труда. Стон сдержался, разжал пальцы, вцепившиеся в край стола, и только хрипло — единственный оставшийся след перенесённого шока — спросил:

— Подробнее. Как и когда это произошло? Что предпринято?

— У столба уже пост. Нас ждут. Поехали. — Из Спинелли трудно было сразу всё выжать.

Садясь в машину, Стон сказал:

— У тебя дрожат руки. Справишься?

— Не от пьянки. Сойдёт.

— Как могло это случиться? У них же не было оружия.

— А мы обыскивали?

— Кто мог заподозрить учительницу и физика?

— Они и не стреляли. Стрелял один человек.

— Гвоздь?

— Может, поляк. Психованный парень.

— Вот мы и просчитались, Джакомо.

— Не уйдут.

Больше они не разговаривали до прибытия на место. Три скорченных трупа лежали в песке у обочины бетонной ленты. Вокруг топтались сыщики в штатском во главе с Петерсеном — начальником окружной леймонтской полиции. Спинелли, ни с кем не здороваясь, молча подошёл к убитым, перевернул одного из них навзничь и почему-то потрепал по запёкшимся в крови волосам.

— Лучший из моих ребятишек, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Красс. Смешное имя, правда?

— Красс был известным римским полководцем, — сказал Стон.

— Не тот, — откликнулся всерьёз Спинелли, — этому в годы войны было одиннадцать, не больше.

Стон не стал отвечать. Он подошёл к Петерсену.

— Профессиональная работа, — сказал тот, кивнув на убитых. — Автоматический кольт военного образца. Тем легче его найти.

— Вы уверены, что найдёте?

— Непременно. Профессионала найти легче, чем любителя. На хуторах не скроешься, да их и прочесать можно. Остаются Леймонт, Пембертон и Сан-Круазье. Леймонт крупнее, с богатым и нищим подпольем, и потому, вернее всего, он заляжет именно тут. Все гостиницы, бильярдные, кафе и бары уже под зонтиком — возьмут, как только появится. Да и следы одной из машин определяют леймонтское направление.

— Какой машины?

— «Форда». «Мерседес» увели в противоположную сторону. Мы уже нашли его в заброшенном мотеле.

— «Форд»? — повторил Стон. — У этой машины старенький кузов и мотор с гоночной. Лишь профессионал мог предпочесть его «мерседесу»: стоило только открыть капот.

— Мексиканец? — спросил Петерсен.

— Он такой же мексиканец, как я француз. Говорит на пяти языках, и все родные.

— Я знал одного мексиканца. Опасный тип, — сказал подошедший Спинелли.

Стону хотелось выругаться, но он сдержался. Только сказал сквозь зубы:

— Ты же его курировал.

— Я о другом. А с этим просчитались мы оба. Тебе важно было, где его сердце, а я размяк. Доверился. А никому у нас верить нельзя. Никому.

«Запоздалые сетования, — подумал Стон. — Да и так ли уж они искренни? Прежде всего не верить следует самому Спинелли. Не он ли и устроил весь этот спектакль? А вот физику лично он, Яков Стон, например, верит. И учительнице верит. Да и скрылись они, наверное, только из боязни оказаться в роли соучастников преступления. Интересно, что они сделали с чемоданами? Ведь при первой же попытке продать хотя бы один-единственный камешек тут же замкнутся наручники. Кроссворд. Сущий кроссворд».

Домой Стон не поехал. Отправились закусить к Тони в «Аполло». Из ближайшей телефонной будки Спинелли позвонил к бармену и потребовал закрыть бар. Он не любил деловых разговоров при посторонних, при публике. А это был его бар, где он командовал, не стесняя себя порядками.

Тони встретил их за стойкой бара с радужными этикетками на пузатых и долговязых бутылках. На электрической плите поджаривались бифштексы. Тони знал вкусы хозяина.

От бифштексов Стон отказался, зато Спинелли потребовал два.

— Мне будут звонить сюда, землячок, — предупредил он бармена, — так вот во время разговоров выйди в подсобку и не подслушивай.

Звонили два раза. В первый раз Джакомо доложили о положении в округе.

— Ни в Леймонте, ни в Пембертоне, ни в одном из ювелирных магазинов никто не пытался продать бриллианты. Оптовые скупщики тоже молчат. Из Сан-Круазье пока сигналов нет.

Второй звонок сообщил о пропавшем «форде».

— Искомый «форд» с леймонтским номером «Д 77–90» был обнаружен час назад у аптеки на улице Жёлтых Роз. Водитель сразу же обнаружил слежку, и в переулках близ площади Кальвина ему удалось уйти. Почему он стоял у аптеки — неизвестно. Аптекарь уверяет, что в это время посетителей не было. Поиски продолжаются.

«А зря его Плучек недооценивает, — подумал Стон о перемалывающем бифштексы Спинелли. — В городе Джакомо незаменим. Подонок должен знать дно в совершенстве, а в придонных водах Леймонта едва ли найдётся хищник зубастее».

Стон ошибался и понял это некоторое время спустя.

Он уже допивал свой кофе, как запертую дверь бара кто-то легко и бесшумно открыл снаружи. На пороге возник Гвоздь с автоматом военного образца. Палец правой руки лежал на спусковом крючке. Чемодана с ним не было.

— Тихо, — сказал Гвоздь, не спускаясь в подвальчик. — Руки на затылок. Стон — направо, Спинелли — налево. Отодвиньтесь. А ты, молчун, — кивнул он застывшему Тони, — лезь под стойку и не выглядывай, что бы тут ни случилось.

Не оглядываясь, он снова закрыл дверь, спустился и сел в стороне, держа под прицелом столик с гостями и стойку бара.

— Оставьте глупости, Гвоздь, — проговорил Стон как можно спокойнее. — Охотно признаю, что ошибся в расчёте. Вы стоите дороже, чем пять тысяч кредиток. Много дороже. Но ведь мы можем договориться.

— Можем, — согласился Гвоздь, не опуская автомата, — только потом. Пока сидите и не двигайтесь. А сейчас мне нужен Джакомо. У меня с ним старые счёты.

Теперь Стон смотрел на Спинелли. Глаза у того округлились.

Страха в них не было — только удивление. Он явно не понимал налётчика.

— Какие у нас с тобой счёты, Гвоздь, кроме уговора по найму, — вымолвил он, проглатывая кусок бифштекса, застрявший в горле. Рук с затылка он не снял — понимал, что парень с автоматом такой же профессионал, как и его «парнишки». — Я тебя только вторично вижу. Первый раз, когда договаривались, второй — сейчас. До того не встречались ни разу. Ей-богу, не помню.

— А я напомню, — сказал Гвоздь без улыбки. Стон обратил внимание на его запавшие щёки и тонкие сжатые губы — с таким лицом не шутят и не разыгрывают, и разговор пойдёт, видимо, на грани расправы. — Напомню, — повторил Гвоздь. — Сколько ты взял за товар, который мы семь лет назад увели с витрин Тардье?

— С кем?

— С Гориллой и Кэпом. Два миллиона моих ты взял плюс их доля. Итого три. Да ещё проценты за семь лет добавить придётся. Подсчитываешь?

Стон не мог отвести глаз от Спинелли — так менялось его лицо во время этой холодной тирады. Губы посерели, как припорошенные пылью, а локти прижатых к затылку рук мелко вздрагивали.

— Термигло... — прошептал он. — Не может быть.

«Сон» в руку

Хуан Термигло, он же Педро Монтец

Коридор я нашёл сразу. Опять же дымок или облачко, а в облачке дырка, чтобы сразу нырнуть. Ну, а прежде чем нырнуть, оглянулся. Смехота! Физик с девчонкой алмазами мертвяка засыпают — могилку делают. А чемоданы забросили; должно быть, решили без них возвращаться. Плакали их десять тысчонок. Дурачьё!

Я-то своих тысчонок не потерял. А если то, что задумал, выйдет, не тысчонками прибыль пахнет. Дело покрупнее будет, чем афёра Спинелли у Франциска Тардье в его ювелирной лавочке. А с Джакомо, само собой, рассчитаемся. Может быть, и выйдет «сон» в руку.

Коридор я прошёл рысцой легче лёгкого — ни боли, ни онемения. А у самого выхода, когда сквозь дымок уже «ведьмин столб» прорезался, я рысцу сдержал, лёг на брюхо и одним глазом снизу, чтобы снаружи не сразу заметили, из дымка выглянул. Смотрю: прямо против столба стоит старенький «форд», на котором я во сне газанул, а чуть впереди — «мерседес». Багажник у «мерседеса» открыт, и возле него, как за столиком, Красс и Чинк угощаются виски с земляными орешками. А водитель машины, незнакомый «парнишка», спустил ноги в открытую дверцу и тянет пиво из банки. Должно быть, взглянуть со стороны на мою голову, торчащую будто из-под земли у столба, было бы очень забавно, только её никто не увидел, а я даром времени не терял.

Вскочил, вынул из подмышки мой кольт калибра девять и три десятых, шагнул на свет божий и первой же короткой очередью, почти не целясь, срезал Красса и Чинка. Вторая досталась водителю, зачем-то пытавшемуся закрыть дверцу машины. После этого с «мерседесом» возиться не стал, а выбрал «форд», точь-в-точь как во «сне» — дай бог, чтобы он оказался пророческим. Только это был старый работяга «форд», без разговаривающего самоуправления, но с хорошим гоночным мотором, с которым можно было дать фору хоть полдюжине «мерседесов».

Я решил внести поправку в своё чудесное «сновидение» и отложил встречу со Стоном и Джакомо. Они подождут. Сначала раскладка карт и техника их замены, как учил меня старый шулер Мортимер. Для этого мне нужен был Коффи, левая рука Джакомо Спинелли. Правой был Красс, исполнитель особых тайных и деликатных поручений. А левая, в лице Коффи, крепко держала в кулаке всю армию «парнишек», барменов, рестораторов и крупье. Были ещё Мартенс и Звездич для деловых связей и мелкого бизнеса. Но первым в очереди был Коффи.

Чемодан с камешками я оставил в сейфе одного из банковских филиалов Плучека — полицейские ищейки даже с благословения Джакомо Спинелли не перешагнут барьер тайны вкладов, а сам проследовал на второй этаж бара «Олимпик», обегающий зал золочёной подковой. Здесь в половине второго изо дня в день за крайним столиком слева обедал старый Филиппе Коффи, за исключением тех случаев, когда приступ подагры укладывал его на несколько дней в постель. Мне повезло: за тем же столиком сидел почти не постаревший за семь лет человек с седыми маршальскими усами, похожий на отставного полковника в штатском. Впрочем, в моей когда-то армии он теперь стал генералом. Не обратив на меня никакого внимания, он терпеливо дожёвывал переваренную котлетку — застарелая язва желудка, — время от времени запивая съеденное глотком прямо из пузатой бутылки виши.

Не спрашивая разрешения, я подсел к нему и начал без предисловий:

— Давненько не виделись, Фил.

— Возможно, — согласился он, нимало не удивившись, — а как давно это было?

— Семь лет назад, Фил. Генералы даже в маршальском звании никогда не забывают тех, кто когда-то отдавал им приказы.

Коффи посмотрел на меня, пристально так посмотрел и сказал задумчиво:

— Одного я помню. Мир его праху.

Я улыбнулся:

— Ты, наверное, вспомнил и газетную заметку годичной давности об автомобильной катастрофе в итальянских Альпах, в которой погиб некий Хуан Термигло, предмет безуспешных поисков международной полиции. Погибшего удалось опознать только по водительским правам и счетам фирмы Кристиан Диор на имя Хуана Термигло по его местожительству в Марселе, Франция.

— А потом он воскрес в новом облике? — усмехнулся Коффи.

— Пластическая операция в Брюсселе, сделанная руками великого косметолога Пфердмана, — сказал я.

— И под другим именем?

— Конечно. Сначала, в период первоначального накопления, человеком без определённых занятий по кличке Гвоздь, а теперь, когда накопление закончилось, богатым негоциантом из Мехико по имени Педро Монтец.

Коффи дожевал котлетку, прополоскал горло глотком виши и спросил, не торопясь:

— Ну и что же от меня хочет богатый негоциант Педро Монтец?

— Для начала один вопрос. Как поступил бы Филиппо Коффи, если б главой его организации вместо Джакомо Спинелли стал Педро Монтец?

Я посмотрел: хитрюга Коффи даже не удивился. Только глаза выдали: заинтересован.

— Разговор, надеюсь, серьёзный? — только спросил он.

А я в ответ:

— Мы все дела делали серьёзно, старый дружище.

И он серьёзно:

— Тогда я говорю: пас.

— Это почему? — спрашиваю я.

— Подожду, пока сыграют основные партнёры, у них и раскладка покрупнее. А кроме того, есть ещё двое.

— Кто?

— Красс и Звездич.

Я, конечно, отмахиваюсь: Звездич не помеха, с ним поладим, а Красс уже в райских кущах. Объясняю, мол, что лежит застреленный у «ведьмина столба» на Леймонтском шоссе.

— Из пистолета-автомата системы «Кольт», калибр девять и три десятых? — спрашивает старик, даже не улыбнувшись — только в глазах смех.

— Петерсену бы твою память, Фил, — говорю я.

— Моя меня тоже не обременяет, — говорит, — я и Кэпа с Гориллой помню, и последовавший затем дворцовый переворот. Только новый переворот должен быть проведён в рамках строгой законности. Времена другие, сынок. Прежде чем последовать за Крассом, Джакомо придётся оставить завещание, засвидетельствованное двумя не запятнанными ничем гражданами Леймонта и передающее все его капиталы и хозяйство троим преемникам. Не кривись, милый, — троим. Двух ты знаешь. Это господа Педро Монтец и Яков Стон, компаньон Джакомо по делам бриллиантовой монополии, а третий — ваш покорный слуга Филиппе Коффи. Устраивает?

Наверняка играет старик. Без проигрыша. Ну, а мне выбирать не приходится. Пожимаю плечами.

— Допустим, — соглашаюсь я без особого удовольствия, но он ещё не кончил.

— Имеются и другие, — говорит он, — они могут, но не должны помешать. Интересуешься кто? Прежде всего банкир Плучек, член совета директоров бриллиантовой монополии. Имеют значение также генеральный прокурор Флаймер и начальник полиции Петерсен.

Я подумал немножко, посчитал: всё равно останется больше, чем уплатим, — и предложил такой вариант:

— С Плучеком сторгуется Стон, а ты займись Петерсеном и Флаймером. Петерсен на жалованье у Джакомо, а Флаймер, говорят, берёт крупно через подставных лиц. Тебе лучше знать, как и через кого. Кстати, пусть Петерсен прекратит поиски жёлтого «форда» с номером «Д 77–90».

Коффи щурится, думает, долго вытирая бумажной салфеткой губы.

— Сейчас без десяти три, — говорит он, не отвечая прямо.

— По моим сведениям, в это время Спинелли можно найти у Тони в баре «Аполло».

— Тогда читай утренние газеты, Фил, — заключаю я и держу путь к площади Кальвина.

У аптеки на улице Жёлтых Роз останавливаюсь, но захожу не в аптеку, а в писчебумажный магазин напротив, где покупаю лист гербовой бумаги для деловых документов. Всё как полагается. Тут же замечаю «хвост», отрываюсь от него в проходном дворе одного из примыкающих к площади переулков и выезжаю прямо к «Аполло». Бар закрыт, но это меня не смущает; я знаю привычки Джакомо. Открываю дверь одним из десяти известных мне способов и вхожу с автоматом наизготовку.

В баре полутемно. Стон с Джакомо тихо беседуют, Тони дремлет за электроплитой у стойки. Далее всё идёт, как в моём пророческом «сне». Я командую, они повинуются, и начинается разговор. Он не совсем тот, что во «сне», но похожий. Стон делает намёк на возможность мирных переговоров. Джакомо трусливо шепчет: «Термигло... Не может быть!» Руки его дрожат.

Я достаю из кармана гербовый лист и говорю:

— Меня ты знаешь, Джакомо, слов зря не бросаю. Хочешь жить — подпиши на этом листе внизу свои полностью имя и фамилию, а господин Стон и Тони распишутся как свидетели. Тони, бери перо и выползай из-под стойки.

— Зач-чем? — еле выдавливает из себя Спинелли.

— А над подписью я впишу обязательство о том, сколько ты мне должен и когда собираешься расплатиться.

Джакомо смотрит на гипнотизирующее его дуло кольта, потом на лист гербовой бумаги на столе и дрожащей рукой выводит свою подпись. Тут же расписываются Стон и Тони. А я слежу за ними, готовый к моментальной реакции, если кто-нибудь схватится за оружие.

Но всё сходит благополучно. Я беру подписанный лист, складываю и опускаю его левой рукой в карман. Правая по-прежнему опирается с автоматом на стол. Потом делаю знак Тони, чтобы отошёл обратно за стойку, усмехаюсь и говорю:

— Отодвиньтесь-ка подальше, Стон. Вот так.

Я один лицом к лицу с Джакомо Спинелли. Почти всё, как во «сне». «Сон» в руку. Мне очень хочется сказать Джакомо, что я обманул его, обман, так сказать, за обман. Словом, квиты. Но язык что-то не поворачивается, и я молча нажимаю на спусковой крючок.

Неподслушанные разговоры

Разные лица

*Бар «Аполло», Ещё день.*

— Вам, Стон, это не грозит. Можете опустить руки. Не бойтесь.

— Я и не боюсь. Просто интересуюсь.

— Чем?

— Что дальше?

— Дальше мы выйдем и продолжим разговор где-нибудь в другом месте.

— А если я позову полицию?

— Не позовёте.

— Вы так уверены?

— Абсолютно. Разговор у нас будет долгий и выгодный для обоих.

— А что с убитым?

— Тони вызовет полицию и сообщит о налёте вооружённых людей, помешавших обеду его хозяина. Пусть придумает неизвестных в тёмных очках или чёрных масках.

— А если он скажет правду?

— Зачем? Он не болтун и хочет жить, как и мы с вами.

По телефону:

— Это я, господин Коффи.

— В чём дело?

— Только что убили хозяина. Здесь в баре.

— Кто?

— Вооружённые люди. Я их не знаю.

— Кто-нибудь видел это, кроме тебя?

— Никто. Бар закрыт.

— Вызови полицейских и сообщи это им.

По телефону:

— Где Звездич?

— Играет в покер в голубой комнате.

— Позови.

— Звездич слушает.

— Скажи им, чтоб не шумели, или лучше прихлопни дверь наглухо.

— Что случилось?

— Красс убит.

— Слышал. Никак не могу найти Джакомо.

— Хозяин тоже убит.

Молчание.

— Ты что, жив?

— Я-то жив.

— И я жив. Так вот — живым живое. Всё остаётся по-прежнему. Указания будешь получать от меня.

— А как с камешками?

— Как и раньше. Подбирай понемногу обдирщиков, огранщиков, сортировщиков, ювелиров. Расширяй предприятие и рынки сбыта. Тут Стон хозяин, с ним и толкуй.

*Офис в «Бизнес-центре». Тот же день.*

— Зачем вам понадобился лист с нашими подписями?

— А текстуру мы с вами впишем. Предположим для начала, что Спинелли в последние дни ходил сам не свой, а потом признался, что боится мести своих дружков из Сицилии. На случай несчастья, мол, оставляет завещание, по которому всё его хозяйство переходит к его преемникам. Их трое: я, вы и Коффи. Все банковские вклады, текущие счета и недвижимое имущество распределяется между нами тремя. Место в совете директоров вашей бриллиантовой монополии занимаю я. Я же возглавлю и личный бизнес Спинелли.

— Думаете, это пройдёт без боли?

— Я же тут и хирург. А потом, я уже возглавлял это дело семь лет назад.

— Вы не учли кое-что. Есть ещё человек.

— Знаю. Оскар Плучек, член совета директоров вашей монополии.

— Монополия — это слишком общо. Создаётся акционерное общество с охватом всего мирового рынка. По предварительным условиям только четверть контрольного пакета акций полагалась Спинелли.

— А мы изменим эти условия. По меньшей мере я претендую на треть. И законно. Сейчас я лично вынес с россыпи более сорока килограммов камней, из них половина в несколько сот каратов... А попадаются и крупнее. Вы же специалист. Слыхали небось о «Куллинане», который когда-то нашли в Претории? Три с лишним тысячи каратов. Есть и такие. Шуточки, а?

— Вы правы. С Плучеком уладим. А где ещё чемоданы?

— Остались в дырке. Нидзевецкий умер. Пережил то же, что и вы, только сердце не выдержало. Физик с дамочкой вышли, но без камешков. Может, взяли по горсточке. Не знаю.

— Ни один камень не может быть продан без нашего ведома.

— Ладно, погляжу. А ребят не трогайте. Я уже дал команду прекратить розыск. С Петерсеном договорятся. Он по уши у нас в долгу, ваш верный Петерсен.

По телефону:

— Петерсен слушает.

— Говорит Коффи. Что нашли?

— Три пули из автомата системы «Кольт», калибр девять и три десятых.

— Не много.

— Налётчиков было трое, в тёмных очках и чёрных платках под носом.

— Это и я могу надеть очки и повязать платок под носом. Не клюнет рыбка.

— Нашли ещё «форд» от «ведьмина столба» с номером «Д 77–90».

— Чья машина?

— Стона.

— Вот и верни её хозяину.

— А розыск?

— Прекрати немедленно. Джакомо Спинелли оставил завещание, в котором говорит, что его преследуют бывшие дружки из Палермо. Красс и Чинк — тоже их работа. А Джакомо — сицилианец. Понял? Всё ясней ясного. И убийцы уже за границей, благо лёту до Сицилии часа полтора, не больше. Словом, пищи для газетчиков хватит.

— А кто же будет вместо Джакомо?

— Его шурин из Мексики, Педро Монтец.

— Он же никого здесь не знает.

— Он всё знает, даже номер твоего текущего счета у Плучека в банке. Ты что кашляешь?

— Поперхнулся. Завещание, между прочим, могут опротестовать.

— Кто?

— Флаймер.

— Примем меры.

*Бар «Олимпик». Вечер.*

— Садись, Инесса. Угощаю.

— Разоришься.

— Коффи ещё подбросит. Ты что так дышишь?

— Попляши шесть-семь раз за вечер. Свалишься.

— Толстеешь, девочка.

— Не твоя забота. Что нового?

— Много нового. Джакомо Спинелли приказал долго жить.

— Ну да? А кто командует?

— Преемники по завещанию. Один из Мексики, другой наш, Коффи.

— Завещание подтверждено?

— Конечно. Только если Флаймер не взбесится. Поможешь?

— Десять процентов.

— С чего?

— С завещания.

— Глотай, да не заглатывай. Там до двадцати миллионов в английских фунтах.

— На полмиллиона поладим?

— Вот это другой разговор.

По телефону:

— Я вас не разбудил, Плучек?

— Разбудили, но я не в претензии. Видимо, дело важное.

— Ваш телефон не прослушивается?

— Кем?

— Конкурентами.

— Пока конкурентов прослушиваю я. Говорите.

— Есть новости.

— О дворцовом перевороте в королевстве Спинелли и о его завещании? Знаю.

— Интересно, от кого? Не секрет?

— Конечно, секрет. У меня свои источники информации. Я даже знаю, о чём вы хотите меня спросить. Спешу обрадовать. Как только завещание будет подтверждено юридически, банковские вклады Спинелли будут распределены между его преемниками. Кстати, откуда этот Монтец?

— Из Мексики.

— Почему именно он?

— Что-то связывало его с Джакомо.

— Ну, вам виднее. А что получу я?

— Монтец лично вынес товар. Это не просто богатство. Это сокровища, не имеющие цены.

— Всё в мире имеет цену.

— А сколько может взять папа за роспись Сикстинской капеллы в Риме? Что стоит всё лучшее в мировой живописи от Рафаэля до Гойи? Сколько вы заплатите за все бриллианты, которые известны по именам с большой буквы? А у нас таких бриллиантов сотни. Одна только выставка их соберёт нам миллионы.

— Замолчите, Стон, а то я не засну.

*Закусочная «Луковая подливка». Два дня спустя.*

— Ну вот я и нашёл тебя, физик. Второй день торчу в этой дыре, благо она против твоего института. Непременно, думаю, забежит.

— Гвоздь? Зачем?

— Гвоздём я был, когда меня забивали. Теперь сам забиваю. А зачем, спрашиваешь? Не за тобой, не бойся. Тебя уже не ищут, дело прекращено.

— Тогда почему?

— Потому. Много камней вынес?

— Мы оба чемодана там бросили.

— Знаю. А в карманах?

— У Этты штук пять, да и у меня горсточка.

— Крупные?

— С лесной орех.

— Где хранишь?

— В кошельке. Вот. Всё, что осталось.

— Осталось? Продал всё-таки?

— Что вы! Разве их можно продать?

— А почему нет?

— Может быть, они живые.

— Что значит «живые»?

— Как всякое живое существо. Как птица, например.

— Птиц тоже продают. Особенно певчих.

— Вам не понять. Это не просто кристаллы с определённым расположением атомов. Это молекулы живой материи. Частицы особой, ещё неизвестной жизни.

— Псих ты, физик, законченный, хоть и сердце у тебя справа. А где остальные камни?

— Я приложил их к письму на имя профессора Вернера.

— Кто это Вернер?

— Когда-то крупный специалист в кристаллохимии. Лучше него, пожалуй, никто не разберётся в этой загадке. Проследить изменения кристаллической структуры вещества камня, определить признаки жизни, сущей или уже угасшей. Мне это не по силам.

— А кто от этого выиграет?

— Наука. Сокровищница человеческого знания.

— Что ж, это можно. Цены от этого не упадут. Жемчуг, говорят, тоже бывает живой и мёртвый. Живой, когда его носят, мёртвый, когда в футляре лежит, тускнеет. Узнаешь что доложи. В любом баре спроси — мигом ко мне доставят.

Ещё «сон» в руку

Берни Янг

Профессор Вернер никого не принимал. Дверь его лаборатории была всегда на запоре. На стук не открывалась, да и никто не стучал. К нему ходили только по вызову, но меня он не вызывал. Никогда. Телефона у него не было — только прямой провод, соединяющий его с директором института. Единственный человек, входящий сюда в любое время без вызова, был глухонемой Штарке, старик вахтёр, принятый в институт по настоянию Вернера. Говорят, они вместе пережили заключение в гитлеровском концлагере в Штудгофе, где Штарке и лишился слуха и голоса.

Помощью Штарке я и воспользовался, чтобы связаться с Вернером. Показал глухонемому кредитки и объяснил, что и как передать. Он кивнул. Я вложил в конверт с письмом три самых крупных алмаза, заклеил его и бережно устроил на подносе рядом с завтраком, который Штарке нёс в лабораторию Вернера. От двери у него был свой запасной ключ.

В письме я писал:

«Я лишён возможности встретиться с вами лично, господин профессор, и потому прибегаю к письму. Прочтите его хотя бы из любопытства. Для себя я у вас ничего не прошу и обращаюсь к вам исключительно в интересах науки. Я полный профан в науке о кристаллах, но знаю, что вы когда-то занимались кристаллофизикой и кристаллохимией и бросили их потому, что они якобы исчерпали себя и не дают возможности для смелых и оригинальных решений. Но именно эту возможность и предоставляют вам три вложенных в конверт алмаза. Они интересны не тем, что крупны и, как вы сами понимаете, очень дорого стоят.

Они откроют вам кое-что новое, скажем, в кристаллооптике, если вы проследите распространение света в их кристаллах. Они не отражают и не преломляют света, они сами источают его. Оставьте их в закрытом от света сосуде, и они засветятся, как светлячки. Я лично не могу понять, откуда идёт свечение, но источник его вас, несомненно, заинтересует. Обратите внимание и на то, что они чуть теплее обыкновенного камня, словно только что нагреты солнцем и сохраняют в себе солнечное тепло. А может быть, и источник тепла, как и источник света, в них самих и ставит перед исследователем оригинальнейшую загадку? Перед вами обычные мёртвые камни, как будто действительно мёртвые. Но исследуйте их кристаллическую структуру, проверьте, действительно ли наблюдается в ней правильное периодическое расположение атомов или других частиц. Повторяется ли это расположение бесчисленное количество раз, как в обыкновенных кристаллах, или, быть может, окажется индивидуальной позиция каждого атома? Может быть, всё, что я говорю, сущая чепуха, результат невежества, незнания предмета, но что, если мы имеем дело не с мёртвым кристаллом, а с живой биомолекулой, частицей какой-то особой высокоорганизованной жизни? Я рассчитываю не только на ваши знания, но и на свойства вашего ума, на феномен внезапного озарения, интуиции, импровизации, которыми вы всегда блистали в решениях поставленных перед вами проблем.

Если вы подтвердите мои догадки, я сообщу вам ещё об одном открытии, которое уже сделано и подтвердить которое не составит труда».

Физик-лаборант института Берни Янг

Прошло три дня. Я ждал и подсчитывал все варианты ответа. То, что камни вместе с письмом не были сразу же возвращены мне на том же подносе, говорило о том, что письмо Вернера заинтересовало. Три дня неизвестности также говорили о многом. При технических возможностях нашего института все исследования, вплоть до структурного анализа с помощью жёсткого рентгено-излучения, потребовали бы часы, а не дни. Вероятно, действует старый, но верный метод проб и ошибок. Что принесёт он? Величайшее научное открытие или ещё один вариант квадратуры круга?

На четвёртый день помню, это было воскресенье, и я забежал в институт только для того, чтобы захватить забытый накануне галстук, который я обычно снимаю во время работы, — я нашёл на столе записку:

Непременно зайдите ко мне, если будете в институте.

Входите без стука: дверь открыта.

В записке не было ни подписи, ни даты, но инстинкт подсказал мне, что именно в воскресенье и нужно прийти. Это было совсем в духе Вернера. Он никогда не отдыхал.

Встретил он меня, как и во «сне», под портретом молодого Резерфорда. Я с ужасом ждал, что портрет заговорит. Но портрет безмолвствовал. Заговорил Вернер.

— Вы работаете у нас в институте? Странно, но я вас не замечал.

— Вы многих не замечаете, профессор.

— Какая у вас тема?

— У меня нет своей темы, профессор. Я работаю в группе Боннэ.

— Как же к вам попали эти камни?

— Об этом долго рассказывать, профессор, и, вероятно, разговор будет не менее интересен, чем разговор о самих камнях. Но мне нужно, чтобы вы прежде всего ответили на мой вопрос. Они... живые, эти бриллианты?

Вернер разжал руку, и камешки засверкали у него на ладони. Ни один ювелир не ошибся бы в подлинности их блеска.

— Это не бриллианты, хотя по чистоте, прозрачности и блеску они, вероятно, не менее драгоценны. Это не огранённые природой алмазы, не чистый кристаллический углерод и не его природные соединения. Это совсем другой минерал, которого в таблице Менделеева нет.

— Значит, всё-таки минерал, мёртвый, неорганический камень?

Вернер долго молчал, прежде чем ответить.

— Камень? Да, — наконец сказал он. — Но неорганический ли, не знаю. Боюсь, что мы столкнулись здесь со своеобразным элементом кристаллоорганики. Я не знаю, как вы догадались об этом, но периодичности в расположении атомов в их кристаллической решётке нет. Почему вы спросили в письме о живой молекуле? Вычитали у Шрёдингера?

— Н-н-нет... — промямлил я. — Чисто интуитивно.

— Похвальная интуиция. Ещё на заре развития молекулярной биологии биомакромолекулу определяли как апериодический кристалл.

— Значит, всё-таки эти структуры живые?

— Во всяком случае, органические. Кое-что особенно поражает. В каждом микросрезе — обнаруживаешь частицы, как бы «зародыши», обуславливающие смыкание атомов в нестабильном порядке. И потом свет! Откуда он? Прозрачная кристаллическая поверхность не столько отражает или преломляет свет, сколько сама излучает его, каждая частица её становится источником света, неизвестно как и почему возникающего. Крупные образования таких кристаллов по силе света могли бы соперничать с солнцем.

— Я видел такие образования, — сказал я.

Вернер посмотрел на меня, как смотрят люди, впервые сообразившие, что их собеседник внезапно сошёл с ума.

— Я не помешанный и не мистификатор, — прибавил я с горечью. — Если хотите, выслушайте.

Я рассказал ему всё, что произошло, начиная с исчезновения людей на Леймонтском шоссе. Он слушал не перебивая, только два пальца загнул на левой руке.

— Почему вы загибаете пальцы? — спросил я, закончив рассказ.

— Потому что это — история двух открытий. Сейчас поясню. Первое — математически легко допустимое, но физически необъяснимое образование пространственного мешка, выходящего за пределы нашего трёхмерного мира. Открытие эйнштейновского масштаба, быть может даже крупнее. Второе — разумная кристаллическая жизнь в этом мешке. Согласитесь, открытие тоже гигантское. Но первое бесспорно, потому что его можно проверить, а второе сомнительно: хотя следы жизни и подтверждаются, однако следы разума пока ещё недоказуемы. Может быть, это только органическая структура, подобная коралловым зарослям.

— Но возможную в течение сотен тысяч или даже миллионов лет эволюцию кристаллоорганики вы всё-таки допускаете?

— Почему же нет? — ответил Вернер. — Органическое вещество в кристаллическом состоянии могло быть образовано в результате взрыва при сочетании каких-то физических компонентов. Эволюция этого вещества также могла привести к образованию кристаллических агрегатов сложнейшего состава и строения. Но где следы их разума и целенаправленной деятельности?

— А связь с нашим пространством, явно продиктованная чьей-то разумной волей?

— А почему не случайным капризом природы? Многое в природе случайно и не объясняет причинности. Что определяет пути циклонов или продолжительность жизни элементарных частиц? Чья воля пробуждает вулканы или распределяет по миру эпицентры землетрясений? Отцы церкви скажут: боженька. А вы?

— Мне трудно спорить, — отмахнулся я, — не та научная подготовка. Но почему-то мне кажется, что наше появление в кристаллическом мире было заранее подготовлено. Проход и коридор — не постоянно действующие явления. Они то исчезают, то опять появляются. Почему, например, исчез выход из кокона, как только мы там появились, и почему вдруг открылся он, как только исследование нашей психики было закончено?

Вернер насторожился.

— Что вы считаете исследованием вашей психики?

— «Сны». Каждый отражал психическое состояние в объёме сознания и подсознания. Извлекалось самое близкое, так сказать, лежавшее на поверхности, какое-то сокровенное подсознательное стремление и набор сознательных впечатлений последних дней или даже часов. Пять различных форм испытания.

— Почему пять? Вас же было только четверо.

— А Стон? Он сам рассказывал, как прокрутили его жизнь за какие-нибудь четверть часа. Полголовы его поседело. А у Нидзевецкого сердце не выдержало — снова пережить фашистскую мясорубку под Монтекассино! Ведь «сны» эти были сплошной реальностью, хотя и с сюрреалистической сумасшедшинкой.

Я тут же рассказал, как Вернер у меня беседовал с портретом Резерфорда. Вернер впервые улыбнулся с начала нашего разговора.

— Я и теперь с ним беседую. Вошло в привычку — стариковские мысли вслух. Интересно только, как это стало добычей вашего подсознания? — Он задумался и вдруг сказал: — Может быть, вы и правы. Наведённые галлюцинации или, вернее, запрограммированное извне творчество вашего мозга, причём монтажно оформленное, как в кино. Лично я не верю в столь высокоорганизованный разум вашей кристаллоорганики. Но представить себе это можно. Гипотетически. Разумная жизнь — это высокоупорядоченная материальная структура, способная обмениваться с окружающей средой информацией и энергией. Как будто бы это и наличествовало во встрече с вами. Но что этот разум, качественно иной структуры, чем наш, мог извлечь из вашей информации о человеке и человечестве? Состоялся ли, как теперь принято говорить, желанный контакт?

Выстрел Вернера попал в цель. Именно об этом я думал и передумывал, Именно это и волновало меня, угнетало и мучило.

— Будь проклят этот контакт! — почти закричал я. — Если он и состоялся, то во что выродился? В мошенническую авантюру дельцов, жуликов и убийц. В торговую монополию Стона, Спинелли и Плучека. Сейчас одного убили, так его место занял другой. В Леймонте уже работает крупнейшая в мире фабрика по огранке и шлифовке алмазов. На европейские рынки уже выброшены сотни тысяч драгоценных камней, почти вдвое снизивших прежние цены. И снижение, обратите внимание, пока безубыточно. «Контакт»! Ещё тонны бриллиантов, может быть даже крупных, как сахарные головы. Новый Клондайк в четвёртом измерении. Вы говорите: открытие эйнштейновского масштаба! Так пусть попробует вмешаться наука. Интересно, как? Симпозиумы, конгрессы, призывы к совести продажных мошенников? Ведь вход-то в кристаллический мешок не в социалистической стране, а в нашем свободном капиталистическом мире! На территории частного, да-да, частного землевладения! И ни один наш суд не позволит нарушить священное право частной собственности. Тут уж ничто не поможет — ни академии наук, ни парламенты, ни ЮНЕСКО. Только выкупить вход у Стона, а если он его не продаст? Судить Стона, а за что? Мой дом — моя крепость, мой сундук, на нём и сижу. Даже вмешательство правительства, если оно рискнёт конфисковать частное землевладение, ни к чему не приведёт, кроме государственной монополии на алмазные россыпи. Такая же торговлишка, только другие купцы — вот вам и результат встречи двух разумов! Да ещё неизвестно, признает ли наша наука за одним из них право на разум?

Вернер опять ни разу не перебил меня, пока не погас полыхавший во мне костёр. Тогда он сказал тихо, но побудительно:

— Я человек науки и могу подходить к этому лишь в интересах науки. Сейчас послеполуденные часы — можно ли наблюдать вход в это время?

— Можно проверить.

— Тогда идём.

И, сбросив халат, тощий, щуплый, в очках, побежал, странно выворачивая ноги, как балерина в первой позиции. Я знал: Вернеру ломали кости в Штудгофе, и ему предстояло ковылять так до конца жизни. Но когда он влез на водительское место в своём «фольксвагене», я всё-таки спросил:

— Сами водите?

— Сам. Руки они пощадили. Вероятно, рассчитывали, что ещё пригодятся.

Ехал он медленно, со старческой осторожностью, не вызывая пристального внимания регулировщиков. Через полчаса мы были уже на месте. Кладбищенская ограда вокруг столба была не замкнута, калитка настежь так и осталась после нашего путешествия в Неведомое. И только самый столб от имени заботливых леймонтских ведьм по-прежнему пророчески предупреждал:

**НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!**

**ОПАСНОСТЬ!**

**ИМЕННО ЗДЕСЬ ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ!**

Сезам закрывается

Берни Янг

— Стоп, — сказал я Вернеру, — вылезаем. Видите этот прозрачный дымок у столба?

Вернер недоуменно покачал головой:

— Ничего не вижу. Выжженная трава да пыль.

— А вы присмотритесь внимательнее. Прищурьтесь при этом. Вон, у самого подножия, где ещё кора не состругана. Видите? Крохотный столбик то ли пыли, то ли дыма, наполовину развеянного ветром.

Вернер прищурился, шагнул вправо, потом влево, присел на корточки и проговорил неуверенно:

— Что-то маячит. Скорее пыль на ветру, чем дымок. Да столбик-то узенький. Как же вы пролезете?

Я засмеялся.

— Сейчас увидите.

Прошёл в открытую калитку, ступил ногой в самый центр пылевого столбика, словно пытаясь прижать его носком ботинка, и сразу же очутился в тусклом, непрозрачном коридоре. Левое плечо и рука тотчас ощутили колючий парализующий поток, и я прижался вправо, к упругой невидимой «стенке». Постоял, должно быть, с минуту, ни о чём не думая, с трудом повернулся и выскочил на свет божий.

Вернер глядел на меня с древним реликтовым удивлением, какое поражало библейских людей, когда они видели колесницу Ильи-пророка или превращение жены Лота в соляной столб.

— Ничего не понимаю. Вы же буквально провалились сквозь землю. Попробуйте ещё раз, я подойду ближе.

— Ладно, — сказал я, — только не слишком близко. Ещё вас втянет. И ради бога не вздумайте последовать за мной — сразу оцепенеете.

Я шагнул вперёд и сразу же, как и минуту назад, упёрся в тугую воздушную «стенку». На мгновение мелькнула мысль: а что, если пройти по коридору в алмазный кокон, повторив уже пережитый опыт? Что подумает Вернер, ожидая меня и сходя с ума от неизвестности? А если я вдруг останусь там бок о бок с Нидзевецким? Ведь контакт двух разумов осуществлялся едва ли в интересах человечества.

Я снова вышел к столбу при полном ликовании Вернера.

— К чёрту! — закричал он. — Я проделаю это сам, — и нырнул в ту же невидимую межпространственную щель.

Я едва успел ухватить его за пиджак. На какую-то секунду я увидел вдруг то, что уже никогда не увижу до смерти. В прозрачном солнечном воздухе возле проклятого столба, извещающего о таинственном исчезновении людей, исчезло вдруг девять десятых Вернера и только рвалась у меня из рук будто отрезанная часть его спины в сером выцветшем пиджаке с острыми, выпирающими лопатками. Ещё секунда, и я его вынул по частям из пустоты, из воздуха, сначала плечи и затылок, потом голову и руки и, наконец, вывернутые в первой балетной позиции ноги.

Он грохнулся на землю в какой-то неестественной позе и простонал.

— Что с вами? — испугался я.

— Он-немела... вся левая часть... как п-параличная... — выговаривал он, с трудом шевеля языком.

— Я говорил вам — не лезьте! — рассердился я. — Вы нормальный человек, с левым сердцем. А это дорога для ненормальных. Контакт для правосердечников. Не понимаю, почему они не переместили эти идиотские воздушные потоки?

— Значит, не могли.

Вернер уже сидел, опершись руками о травяные бугорки и вытянув вперёд свои худые, выворотные ноги.

— Значит, разум их не всемогущ и не всеведущ. Не подымайте его уж так высоко над человеческим, — продолжал он, — просто он действует, как и мы грешные, методом проб и ошибок. Придётся воззвать ко всем учёным планеты: есть ли среди них люди с правосторонним сердцем?

— Едва ли Стон пустит сюда ваших учёных. Мне кажется, он совсем не заинтересован в гласности.

Вернер задумался.

— Такое открытие нельзя замалчивать, — сказал он. — Это преступление против науки. Мы, в конце концов, можем обратиться в ООН.

— Не будьте наивны, Вернер, — сказал я с сердцем. — ООН может вмешаться в вооружённый конфликт, но не сможет войти в дом без разрешения хозяина. Частная собственность, профессор, ничего не поделаешь. А задушить Стона могут только международные картели, миллиарды против его миллионов, да и сделают они это не ради науки.

Так мы и сидели с Вернером на шоссейной обочине, глотая пыль из-под колёс проезжавших автомобилей. Ни один из них не остановился, даже хода не замедлил: «ведьмин столб» стал вроде рекламного щита, предлагающего вам застраховать свою жизнь — самый трудный и неблагодарный вид рекламируемого товара. А зачем её страховать, подумалось мне. Во имя благополучия Гвоздя и Стона, во имя их дальнейших благоприобретений за счёт живой, пусть незнакомой нам, но жизни и, может быть, всё-таки жизни разумной. А что, если я сейчас пройду по этому коридору в алмазный кокон и скажу им всё, что тиранит душу со дня первой нашей встречи с Неведомым? Может, они поймут. Ведь они хотели, чтобы и мы что-то поняли, но мы ничего не уразумели в беготне цветных значков и пятен, как в рекламных анонсах на Больших леймонтских бульварах. Ну, мы не поняли, а они? Ведь не для нашей потехи извлекли они у нас всё сознательное и подсознательное и смоделировали четыре человеческие жизни так, как нам и не снилось. А если так, вдруг они и сейчас поймут всё, что мне хочется им сказать, поймут правильно и захлопнут намертво эту соблазняющую только дикарей калитку в Неведомое. А что, если в самом деле выйдет, если удастся, то чего же я медлю здесь на вытоптанной траве у дурацкого столба, на котором даже не повесишь никого из проклятой шайки...

Я молча поднялся и шагнул к столбу. Дымок у его основания ещё клубился тоненькой мутноватой спиралькой. Я обернулся к Вернеру и сказал:

— Мне пришла в голову одна идея, профессор. Подождите минут двадцать. Я скоро вернусь.

— Куда вы? — встрепенулся Вернер. — Какая идея? Что вы ещё придумали?

— Скажу им всё, что говорил вам. Пусть принимают меры, если поймут.

— Так вы же ещё не знаете, разумны ли они. С кем же вы будете говорить?

— С самим собой. Если это разум, он поймёт. Услышит, или прочтёт, или воспримет своим каким-то особым способом, в сущности, совсем не сложную мысль. Вроде той, какая изложена на этом столбе.

Вернер держался за него одной рукой, другой загораживая мне путь. Губы его дрожали.

— Это донкихотство, Янг. Я не пущу вас. Поступок, недостойный нормального человека.

— А то, что творится вокруг, нормально по-вашему? — спросил я, легко отстраняя Вернера. — Не мешайте, профессор. Я иду.

Коридор я прошёл быстрее, чем раньше, — не было Этты, которая связывала. Переступал, прижимаясь грудью у пружинящей «стенки», и почти не попадал в зону парализующего потока. Привычного уже онемения я даже и не почувствовал, когда глазам открылось таинство сказочной игры самосветящихся кристаллов. Казалось, они мгновенно меняли цвет и форму, словно струились, скручивались и расплывались, как взбесившееся электричество, запертое в скалистые берега более крупных кристаллических форм. Впрочем, я недолго любовался этой сверкающей геометрией. Шагнув вперёд, я закричал исступлённо и неудержимо — не крик, а сумасшедший бег таких же сумасшедших, истерических, что-то выкрикивающих мыслей:

— Услышьте меня или, вернее, поймите вот так, как вы умеете это делать, вскройте мозг, как консервную банку... Вы, конечно, не знаете, что такое консервная банка, но понимаете, что можно вскрыть мозг... вы уже делали это, и не со мной одним... А вскрыв его, вы услышите, что я хочу вам сказать... закройте калитку... мы называем этот проход в ваше пространство калиткой в Неведомое, нам, конечно, неведомое, потому что, кроме меня, никто не понял, что вы — это жизнь, это разум, качественно иной, чем наш, может быть даже его превосходящий... Тогда поймите, что с нами рано, ещё рано вести обмен информацией... здесь у нас мелкий, душный, собственнический мир хищных инстинктов, жадности, коварства, подлости, античеловеческой, антигуманической псевдосвободы... Конечно, есть места на Земле, и много таких мест, где люди могут жить и живут по-человечески, действительно свободно и счастливо, но вы открыли свой вход не там, а у нас, где правят деньги, деньги и деньги, где даже ваши частицы, которые нам удалось унести с собой, продаются и покупаются, как украшения для толстосумов, их жён и возлюбленных... Я не знаю, поймёте ли вы всё это, но именно эти немногие у нас владеют миром, забирая всё лучшее, всё самое красивое и ценное, отнимая его у тех, кто создаёт эту красоту и ценность... Вот почему я кричу, прошу, умоляю вас закрыть проход... Ещё не настало время-время для встречи разумов, не те люди придут к вам, какие должны прийти... Может быть, через сто-двести лет — как бы вам объяснить это?.. У нас десятичная система отсчёта, а год — это период обращения Земли вокруг Солнца, Землёй же мы называем нашу и вашу планету — так вот, через сто лет, быть может и раньше, я надеюсь, и у нас на Земле будет всеобщее торжество разума, свободного от зла и невежества... Простите, говорю, может быть, слишком выспренне и не научно, хотя, вероятно, наши науки и чужды вам, но мне очень хочется, чтобы вы меня поняли и закрыли эту чудесную калитку в Неведомое... Простите, поймите и не судите меня строго — я только хочу всё, как честнее и лучше...

У меня перехватывало дыхание и срывался голос, я кричал уже, не слыша себя и едва ли соображая то, что выкрикиваю. Последнее, что я заметил, был уже не многоцветный, а прозрачный сияющий мир вокруг, какой-то очень спокойный и чистый, от чего спокойнее и чище стало на душе, и я вдруг умолк, понимая, что говорить уже было не нужно. Позади висело, как спиралька пыли — хотя в хрустально-прозрачном воздухе, конечно, не было ни пылинки, — смутное пятно выхода, и я отступил в него, как уходишь из ярко освещённой комнаты в тёмную, не отрывая глаз от плывущего за выходом сияния.

Коридор я прошёл уже не помню как и, вероятно не очень тщательно оберегая себя, так что левая сторона здорово онемела. Вышел, споткнулся и упал прямо к ногам белого, как бумага, Вернера.

— Живы? — только и вымолвил он.

— Жив, — выдохнул я.

— И всё сказали?

— И всё сказал.

— Что же будет?

— Не знаю.

— И вы думаете, они поняли?

— Хочется думать, что поняли.

Минут пять мы посидели молча, не задавая друг другу вопросов, как вдруг неизвестно откуда налетел порыв ветра, взлохмативший мне волосы, а с Вернера сорвавший шляпу, застрявшую в чугунных переплётах ограды.

— Гроза, что ли? — спросил он.

— Откуда? — удивился я, посмотрев на девственно-голубое небо.

Вернер оглянулся и замер с открытым ртом, словно что-то застряло у него в горле.

— Что с вами? — бросился я к нему.

— Смотрите... — прошептал он.

Я взглянул и обмер. Дощечка на столбе, предупреждавшая об опасности, повернулась на сто восемьдесят градусов.

— Может быть, ветром сдуло? — предположил Вернер.

— Так ведь она же прибита.

И лишь подойдя к столбу вплотную, мы заметили, что повернулся весь столб, причём странно повернулся — не в земле, по-прежнему прочно утоптанной и твёрдой как камень, a так, словно поворачивали его, держа за основание и скручивая вещество столба, как верёвку. Скрученность древесины была заметна сразу, и доска была прибита к ней уже не параллельно, а перпендикулярно к шоссе.

— Ведьмы шалят, — сказал я.

— Это не ведьмы, — покачал головой Вернер. — Искривилось пространство, а вместе с ним и древесина столба. Это они. Посмотрите: пыльного дымка внизу уже нет.

Он шагнул и упёрся в столб. Шагнул и я, стараясь попасть ногой в знакомое место, куда ступал для того, чтобы попасть в исчезнувший уже коридор. Нога уже ничего не нашла — только пыль...

Телефонная ночь

Берни Янг

Вернер позвонил мне поздно вечером:

— Господин Янг?

— Почему так официально, профессор?

— Я вообще не хотел говорить с вами. Помните, я не сказал ни слова по дороге домой...

— Не помню. Ничего не помню, Вернер, кроме счастья, что всё это удалось.

— Убийство вам удалось. Вы убили открытие, Янг. Наука уже ничего не узнает о нём. Никогда. Доказательств нет.

— Лучше не знающая наука, чем знающая и способствующая преступлению. Вспомните Хиросиму, профессор.

— Вы Герострат, Янг.

— Если уж прибегать к сравнениям из древнейших текстов, то я скорее Иосиф из Аримафеи, который с согласия Пилата, подчёркиваю: с со-гла-си-я Пилата, лично снял с креста тело Иисуса.

— Я не давал согласия. Я старался вам помешать.

— А я убедил вас не силой, а логикой.

— Тем, что у меня осталось второе открытие?

— Конечно.

— И его уже нет. Камни потускнели и не светятся. В темноте их уже не отличишь от кусков угля. А на всех микроскопических срезах кристаллическая решётка везде одинакова. Камни мертвы.

Я молчал. Мысль о том, что меня поняли даже вернее и лучше, чем я рассчитывал, кружила голову. Голос Вернера в трубке спросил с раздражением:

— Испугались?

— Ничуть. Может быть, это всего лишь результат ваших исследований?

— Не знаю. Теперь уже не проверишь.

— Почему? Попробую.

— Что?! — вскрикнуло в трубке, но я уже нажал на рычаг.

Услышав гудки, я набрал номер Стона. С ним долго не соединяли, дворецкий что-то твердил о том, что господин уже спит и будить не приказано, но я неумолимо настаивал: разбудите и объясните, что дело не терпит отлагательства, а говорит физик Янг. Так, мол, и передайте.

Наконец сонный голос спросил:

— Какой ещё Янг?

— Тот самый. Не представляйтесь, что не помните.

— Какого дьявола вы меня беспокоите ночью?

— Сейчас узнаете. У вас ещё при себе наши камни?

— Мои, а не наши.

— Ну, ваши. Теперь разницы нет. Какие-то из них вы, наверное, припрятали ещё от Спинелли?

— А почему это интересует вас?

— Сейчас заинтересует и вас. Если они хранятся где-нибудь поблизости, возьмите и рассмотрите их внимательно. И при свете и в темноте.

Голос в трубке уже испуган:

— А что случилось?

— Делайте, что вам говорят. Потом объясню. Трубку не вешайте. Жду.

Стон не возвращался к телефону долго, минут пять или десять. Я жду. И наконец слышу встревоженное и недоуменное:

— Ничего не понимаю...

— Поймёте. Камни потускнели?

— Совершенно. Как бутылочное стекло.

— И в темноте уже не горят?

— Ни искорки.

— Лопнули ваши миллионы, Стон.

Тяжёлое дыхание в трубке и робкий, умоляющий голос:

— Может, вы объясните мне, что случилось?

Я объясняю. Говорю об исследованиях Вернера. О том, что это вообще не алмазы, и не бриллианты, и даже не камни вообще, а живые организмы, элементы своеобразной кристаллоорганики. Сравниваю их, чтобы ему легче было понять, с коралловыми полипами, создающими атоллы и целые острова. Поясняю, что алмазный кокон, где мы побывали, и есть что-то вроде такого острова, созданного классом особых кристаллических существ. О разуме я молчу: всё равно не поймёт да и понимать ему незачем.

— Кто вам разрешил эти исследования?

— Я и не спрашивал ни у кого разрешения. Просто ещё в коконе заподозрил, что они живые.

— Сколько камней вы дали этому профессору?

— Три или четыре, не больше.

В трубке уже ничем не сдерживаемый гневный настрой:

— К моим камням никто не прикасался. Никто. Так почему же они потускнели?

— Потому что потускнели все камни, — терпеливо поясняю я, — все, какие были вынесены с россыпи и где бы они ни находились сейчас — у вас или у ваших компаньонов, в магазинах или у покупателей. Словом, все. Вам понятно? Все.

— Не понятно.

— Поскольку это не алмазы, а частицы живой кристаллической структуры, — опять терпеливо разжёвываю я, — жизнь их, а следовательно, и блеск, и свечение, и бриллиантовая яркость развивались в привычной им среде, с иным химическим составом воздуха, без угарных примесей, вредных газов, даже солнечной радиации, — в среде, где ничто не горит и не тлеет, не гниёт и не разлагается. Попав в нашу, уже достаточно отравленную атмосферу они просто не смогли жить.

— Почему же они скончались одновременно? Может быть, вынесенные позже ещё живут?

— Не думаю.

Мысль Стона делает неожиданный скачок:

— Мои жили почти три месяца. Если сейчас вынести оттуда побольше новых, мы даже при снижении цен проглотим весь ювелирный рынок.

— Не выйдет, — говорю я спокойно.

— Почему?

— Сезам захлопнулся.

— Какой Сезам?

— Вход в гиперпространство у «ведьмина столба» на шоссе.

— Он всегда закрывается и открывается. Зависит от погоды и времени дня.

— Теперь уже не откроется.

— Вы так уверены?

— Я лично пытался пройти сегодня. Не вышло. Вход захлопнулся у меня под носом. Даже столб вывернуло.

— Из земли?

— Нет, в земле. Скрутило, как жгут. Страшная месть леймонтских ведьм, господин Стон.

Молчание в трубке, и новый поворот разговора.

— Вы действительно своевременно разбудили меня, Янг. Надо думать о будущем. Возможно, вам придётся выступить в суде.

— В каком суде? — не понял я.

— Меня могут обвинить в торговле фальшивыми бриллиантами. В мошеннической продаже их за настоящие. Возможны любые осложнения.

— Я скажу правду.

— Интересно, как будет воспринята в суде ваша правда о дырке в пространстве.

— А ваша?

— Я ещё не обдумал план защиты. Когда вы мне понадобитесь, я пришлю своего адвоката.

Разговор поверг меня в убийственное уныние. О суде я действительно не подумал. Я представил себе свой рассказ о гиперпространстве, о живых алмазных структурах, отчёты в газетах о новом Мюнхгаузене и хохот в зале, когда за меня как следует возьмутся прокурор и судья. Перспектива не из приятных, конечно, но ведь рассказать что-то придётся. Не из Южной же Африки Гвоздь вынес свой чемодан и не искусственные бриллианты перебирали мы с Эттой в «бунгало» Чосича. А что расскажет Вернер о своих микросрезах, которые теперь на экспертизу даже представлять неудобно? Микросрезы с пивной бутылки — вот что объявит эксперт, сдерживая улыбку. А улыбаться-то нечему. Роль соучастников грандиозного мошенничества нам с лихвой обеспечена.

В таком состоянии ума меня и застал новый звонок:

— Физик?

— Я, — подтвердил я, уже зная, кто говорит.

— Ты напугал Стона, а Стон — тебя. Но, в общем, не три глаз — слёзы не помогут. Мои камешки тоже сдохли.

— Я же говорил, что они живые.

— Профессор доказал?

— Конечно.

— А что конкретно?

— Не поймёшь.

— Ну всё-таки.

— Хотя бы то, что иная жизнь может возникнуть и на совершенно неизвестной нам материальной основе и в формах, которые мы даже не сможем придумать. Понятно?

— В общем-то да, только говорить об этом не нужно.

— Где?

— На суде. Тебе же Стон сказал, что нас могут обвинить в мошеннической фальсификации драгоценностей.

— Допустим. Только мы с Эттой ничего не фальсифицировали.

— Но способствовали.

— Чем?

— Участвовали в добыче. Унесли десяток камней. По рыночным ценам это не малые деньги.

— Я уже уведомил Стона, что лгать не буду.

— Пожалеешь. В лучшем случае свезут в психиатричку. Подумай. До суда ещё далеко.

Поздно ночью я позвонил Этте. Долго не отвечала, потом что-то лепетала сонным до одури голосом, потом разобралась и рассердилась, что звоню под утро, когда все нормальные люди спят. А когда я рассказал ей о разговоре с Вернером и о своём походе в Неведомое, огорчилась так, что в голосе слышались слёзы. Как это я мог забыть о ней, пойти без неё, даже не посоветоваться, что это по-свински, а не по-товарищески и что рисковать жизнью, не зная, чем всё это может окончиться, как рискнул Нидзевецкий, — безумие и бессмыслица. О том, что мы все уже раз рисковали, она не упоминала, слова вылетали автоматной очередью: как это я мог, как решился и как это было глупо кричать в хрустальное сиянье о мошеннической шайке Гвоздя и Стона. Я всё это выслушал и сказал устало:

— Я тебе не сообщил главного. Меня услышали и поняли.

— Кто?

— Разум.

— Опять ты со своими гипотезами. Даже Вернера не смог убедить.

— Я его уже убедил. Теперь он солидаризируется со мной, формулируя это так: материальная основа сознания вовсе не обязана быть биологической.

— Ну и как тебе ответила эта основа сознания?

— Закрыла калитку.

— Как закрыла? Совсем?

— Совсем. Столб скручен, как верёвка, пылевая дымка уже не завивается, и войти в коридор нельзя. Собственно, и коридора уже нет: он за пределами нашего мира. Но я ещё не сказал всего.

И добавил всё, что знал о камнях от Вернера, Стона и Гвоздя алиас Педро Монтеца. Тут она ничего не ответила, только часто дышала в трубку, словно ей не хватало воздуха, и наконец чисто по-женски спросила, уже совсем нелепо:

— Что ж теперь будет?

Пришлось снова вернуться к переговорам с Гвоздём и Стоном, рассказать про суд, поинтересоваться, как вести себя на свидетельской трибуне, и если говорить правду, то не превратит ли она нас в не отвечающих за свои слова шизофреников или просто в посмешище для публики и газетчиков?

Этта ответила уже совсем неожиданно:

— Подождём, Берни. Подождём и подумаем,

Судебный процесс века

Этта Фин

Сегодня мы с Берни поссорились очень крупно. А предыстория этого такова.

Он поручил мне сделать запись процесса по судебным отчётам в «Леймонтской хронике», наиболее подробно и тщательно освещавшей процесс, А кратенькое вступление к этой записи продиктовал мне сам, что и и привожу здесь с перебивающими это вступление моими с Берни репликами.

После того как все камни, вынесенные с россыпи и являющиеся собственностью акционеров «Бриллиантовой монополии», а также все преданные ими ювелирным фирмам, магазинам и частным лицам, превратились в подобие тусклых бутылочных стекляшек, началась бешеная кампания в обществе и в печати против акционеров, обвиняемых в заведомо мошеннической продаже фальшивых бриллиантов, выдававшихся ими за подлинные. Особенно неистовствовали даже не покупатели камней Стона, а фирмы, пострадавшие косвенно, так как в связи с появлением на рынках Антверпена, Амстердама и Лондона голубых карбункулов Стона вся малокаратная мелкота, массами вывозимая из Южной и Юго-западной Африки, упала в цене до стоимости безделушек из горного хрусталя. Её даже сняли с большинства крупных ювелирных витрин и сплавляли при первом удобном случае в мелкие туристские лавчонки Неаполя и Афин. Международная торговля бриллиантами переживала неслыханный кризис, угрожавший полным разорением владельцам большинства алмазные разработок в Южной Африке, откуда они питали голландские и бельгийские рынки. Но всё это были лишь закулисные вдохновители антистоновской кампании на биржах и в обществе. И исковыми же заявлениями выступили непосредственные клиенты «бриллиантовой монополии», и в конце концов леймонтский суд вынужден был начать разбирательство дела, в котором группы истцов и ответчиков представляли всемирно известные мастера профессиональной юридической казуистики в мантиях и без мантий. Надо сказать, что уже до суда ответчики выиграли не менее сотни миллионов, так как суд отказался рассматривать иски по документально не оформленным искам. Однако и официально оформленные составили, в переводе с гульденов, лир и франков, внушительную сумму в сто восемьдесят шесть миллионов долларов. Это и позволило многим западноевропейским газетам назвать дело «Леймонтской бриллиантовой монополии» судебным процессом века.

Обвинение на процессе поддерживал генеральный прокурор Флаймер, который, по мнению критически настроенных судебных корреспондентов, вёл себя более чем странно. Он всячески придирался к истцам, требовал дополнительной документации, отклонял документы, по его мнению не надлежаще оформленные, и даже не постеснялся сказать в кулуарах: «Раздутое дело. Прокуратура ещё не имеет достаточно уверенности в правоте предъявленных ответчикам обвинений».

Не дремали, как говорится, и сами ответчики. Всё чудесное в деле, всё ирреальное, опровергающее каноны классической физики, было отвергнуто. Никакого гиперпространства, никаких коридоров за пределами трёх земных измерений, никаких бриллиантовых коконов с собственным источником света — просто обычная природная шахта, замаскированная сверху прочным переплетением травы, а внизу переходившая в пещеру со свободными алмазными россыпями. Чтобы устранить проверку, Стон и его сообщники взорвали землю вокруг «ведьмина столба», объяснив его взрывом природного газа, скопившегося в шахте. Никаких раскопок Стон не разрешил как землевладелец, объявив, что вопрос о существовании шахты к судебному разбирательству отношения не имеет. Какая разница, есть ли в земле бриллианты или нет, если они всё равно фальшивые?

Тут я прервала запись и спросила у Берни:

— Зачем же понадобилось Стону взрывать эту землю? Его же могут обвинить в умышленной аварии.

— А зачем ему умышленная авария?

— Чтобы закрыть «Сезам».

— Он и так закрыт. А ему и нужно, чтоб чуда не было — ни дырки в пространстве, ни коридора, ни кокона. Ничего, что могло бы запутать процесс.

— На чём же он строит свою защиту?

— На показаниях экспертов. Все они документально подтверждают, что бриллианты в их первоначальном виде не могли быть подделкой. Только слишком прозрачны и ярки, но это как раз и привлекало. Так что ни продавцы, ни эксперты даже не подозревали о фальши. Обвинения в умышленном мошенничестве тогда начисто отпадает.

Стон подтвердил всё сказанное Берни на первом же заседании суда. Цитирую этот эпизод по отчёту в «Леймонтской хронике».

Стон подходит в судейскому столу весь в чёрном, как в трауре. Говорит медленно и с актёрским нажимом на публику о том, что он с самого начала был уверен в подлинности алмазов. Адвокаты подтверждают его слова данными специальной ювелирной экспертизы.

*Судья.* Вы что-нибудь знали об этой шахте до приезда в Леймонт?

*Стон.* Ничего. Я понятия не имел об алмазных россыпях в окрестностях города.

*Судья.* Почему же вы купили земельный участок, привлекающий к себе нездоровое любопытство и, я бы сказал, даже мистический интерес?

*Стон.* Я заинтересовался необъяснимым исчезновением людей на этом участке. Лично исследовал его и обнаружил отверстие не то колодца, не то глубокой ямы, замаскированное прочно переплетавшимися между собой жёсткими стеблями густой травы. Они легко пропускали меня, когда я до половины опускался в яму, и снова восстанавливали прикрытие, когда вылезал наружу. Потом я, вооружившись, как альпинист, зубьями и верёвкой, спустился в шахту и обнаружил нечто вроде сталактитовой пещеры, освещённой откуда-то проникающим светом и с россыпью похожих на битое стекло камешков, оказавшихся при ближайшем рассмотрении алмазами — я-то знал, как выглядят подлинные алмазы, когда работал старателем на приисках в Южной Африке.

*Голос из зала.* Вы лжёте, Стон!

*Судья (судебным исполнителям).* Выведите крикуна из зала, чтоб не мешал.

Крикуном, конечно, был Берни, который до конца продолжал настаивать на своей версии качественно иной жизни за пределами нашего пространства, куда удалось проникнуть Стону и впоследствии всем нам. По его словам, он хотел задать Стону вопрос о трупах исчезнувших на шоссе людей, но ему помешали судебные исполнители. Вопрос же этот задал судья.

*Судья.* При спуске в шахту вы, вероятно, обнаружили тела исчезнувших?

*Стон.* Всех, включая бродягу и полицейского. Они сорвались и разбились, не имея стальных костылей и верёвок, при помощи которых спускался я.

*Судья.* Родственники погибших не пытались потом отыскать трупы?

*Стон.* Я не сообщил им об этом — не хотелось огорчать их, да и с деловой точки зрения не в моих интересах была информация о местоположении алмазной шахты. Впоследствии, к сожалению, случайный взрыв уничтожил всё, и любая попытка эксгумации была бы нецелесообразной. Сейчас на этом месте воздвигается памятник всем погибшим в злосчастной шахте.

*Берни (из зала).* Вы опять лжёте, Стон! Вы отлично знаете, что тела погибших находятся за пределами нашего пространства!

*Судья.* Я же приказал вывести крикуна из зала! (Стону.) Второй раз вы уже не рискнули спуститься?

*Стон.* Второй экспедицией руководил мой компаньон Педро Монтец.

*Судья.* Свидетель Педро Монтец!

*Монтец (после присяги).* Да, я руководил второй экспедицией за алмазами. Кроме меня, в шахту спускались лаборант института физики Берни Янг, учительница Этта Фин и польский эмигрант, автомеханик по профессии, Станислав Нидзевецкий.

*Судья.* Чем обусловливался выбор участников экспедиции?

*Монтец.* Прежде всего опытом альпинистов и умением держать язык за зубами. Разглашать цели экспедиции было не выгодно — сами понимаете: конкуренция и секреты фирмы.

*Берни (ему удаётся снова втиснуться в зал).* И это ложь, ваша честь! Прошу вызвать участников экспедиции.

*Судья (морщится).* Опять этот крикун!

*Прокурор.* Не вижу необходимости в задержке процесса. Что нового могут сказать участники экспедиции? Ни один из них даже не предполагал, что бриллианты фальшивые.

*Берни (из зала).* Я предполагал, что это не бриллианты!

Судья снова поворачивается к судебным исполнителям, но его приказание о выводе Берни предупреждает представитель адвокатуры истцов.

*Адвокат истцов.* Защита интересов объединения истцов по этому процессу настаивает на вызове участников экспедиции Берни Янга, Этты Фин и Станислава Нидзевецкого, эксперта-исследователя профессора Вернера и руководителя юридической конторы «Винс и Водичка».

Адвокат ответчиков передаёт судье какую-то бумагу.

*Судья (прочитав).* Суд считает возможным удовлетворить ходатайство защиты интересов истцов только в отношении Берна Янга. Ещё одного дополнительного свидетельства о характере экспедиции, не имеющем прямого отношения к сути исследуемого вопроса, будет совершенно достаточно, тем более что Станислава Нидзевецкого уже нет в живых. Ходатайство о вызове других перечисленных в заявлении лиц суд удовлетворить не может. Профессора Вернера сейчас в городе нет, а юридической конторы «Винс и Водичка» больше не существует.

*Адвокат истцов.* Однако все участники экспедиции были наняты по объявлению именно этой юридической конторы. Прошу приобщить его к делу, ваша честь.

Судья читает объявление, передаёт его прокурору и ждёт ответа.

*Прокурор (недоуменно пожимает плечами).* Может быть, это объяснит нам господин Стон?

*Стон.* Мы не давали такого объявления и не руководствовались им при выборе участников экспедиции. Это какая-то мистификация, ваша честь.

*Берни (из зала).* Очередная ложь, господин Стон.

*Судья.* Опять крикун! Немедленно вывести его и ввести Янга.

Берни говорит что-то судебным исполнителям.

*Судебный исполнитель.* Это и есть Берни Янг, ваша честь.

*Судья.* Ну что ж, послушаем крикуна. Подведите его к присяге.

*Берни (после присяги).* Всё, что говорили здесь Стон и Монтец, — ложь. Не было ни входа в шахту, замаскированного травой и кустарником, ни альпинистского спуска с верёвкой и костылями. Мы шли по коридору с уплотнёнными воздушными «стенками», находившемуся уже за пределами нашего пространства.

*Судья.* Что значат слова «за пределами нашего пространства»? Или я ослышался?

Берни поясняет. Ему удаётся добавить немногое — о парализующем потоке, о правостороннем сердце, о неразложившихся трупах людей, когда-то исчезнувших на шоссе. Зал в это время уже содрогается от хохота, свиста, улюлюканья и криков: «Вон!», «Долой!», «Заткните ему глотку!» Журналисты вскакивают на скамьи в поисках лучшей точки для фотосъёмки, их стаскивают за ноги зрители, которым они мешают. Судья яростно стучит молотком, требуя тишины. Наконец зал стихает.

*Прокурор.* Свидетель явно нуждается в судебно-медицинском обследовании. И потом, его бред задевает лично меня: ведь среди исчезнувших была и моя дочь, ваша честь.

*Судья (протоколисту).* Выключите магнитофон, показания свидетеля не записываются.

*Берни.* Я хочу сделать заявление, непосредственно относящееся к обвинению ответчиков в заведомом мошенничестве.

*Адвокат истцов.* Защита интересов истцов настаивает на необходимости выслушать свидетеля.

*Судья.* Продолжайте, Янг. Только конкретно и коротко.

*Берни.* Я с самого начала заподозрил, что это совсем не алмазы, ваша честь. То были живые кристаллические структуры, неизвестные на земле и напоминавшие в своём развитии жизнедеятельность коралловых образований. Я предупреждал Гвоздя о том, что их нельзя продавать как бриллианты после огранки.

*Судья.* Кого вы предупреждали, свидетель?

*Берни.* Ответчика, известного ныне как Педро Монтец, а тогда человека без определённых занятий по кличке Гвоздь.

*Монтец (с места).* Прошу оградить меня от оскорблений, ваша честь. К тому же свидетель говорит неправду. Я получил от него вынесенные им бриллианты без каких-либо замечаний с его стороны.

*Судья.* Вы свободны, свидетель Янг. Логичнее было бы направить вас на принудительную психо-экспертизу, но суд предоставляет вам право сделать это по собственному желанию.

Берни выходит из зала суда, окружённый толпой журналистов и фотографов. А за столом юристов подымается один из адвокатов ответчиков.

*Адвокат.* Директор леймонтского банка Оскар Плучек просит слова для внеочередного заявления.

Судья, полузакрыв глаза, еле заметным кивком изъявляет согласие.

*Плучек.* Хотя, по нашему убеждению, несостоятельность иска уже доказана, мы всё же считаем своим долгом пойти навстречу покупателям злополучных для обеих сторон драгоценностей и погасить сумму иска в размере двадцати пяти процентов, что в переводе на американскую валюту, в которой совершается большинство операций на ювелирных рынках, составляет сорок шесть миллионов долларов.

*Представитель истцов (после краткого совещания за столом адвокатуры).* Предложение в принципе заслуживает внимания, но для принятия решения требуется время. Мы просим отсрочки до утреннего заседания во вторник.

*Судья.* Суд соглашается с предложением адвокатуры.

Я не пересказываю здесь газетных комментаторов — они не компетентны и не влиятельны. Через два дня на утреннем заседании стороны пришли к соглашению, и дело было прекращено.

Мы встретились с Берни в столовой, где обычно обедали, и жестоко поссорились.

Он начал первый:

— Ты почему не выступила в суде?

— Потому что меня не сочли нужным вызвать.

— Ты могла этого потребовать.

— Зачем?

— Хотя бы для того, чтобы не оставлять меня одного.

— И к Дон Кихоту в джинсах присоединиться Дон Кихоту в юбке? Разделить участь осмеянных и освистанных клоунов?

— А ради истины?

— У твоей истины нет доказательств. Вернер же не выступил, скрывшись из города.

— Вернер — морально сломленный человек. Он был в Штудгофе.

— Я тоже была в Штудгофе. Но ни я, ни Вернер не выступили потому, что струсили. Ты же присутствовал в зале суда. Так неужели не ясно, что весь процесс был очень хитро подготовлен и проведён. И не в интересах истины. А истину в сущности, ты же сам закопал. Я не осуждаю тебя, но ведь это ты захлопнул калитку.

Берни встал и ушёл не прощаясь.

Книга в наборе

Берни Янг

С Эттой мы помирились, конечно, хотя мне до сих пор горько, что она не поддержала меня в борьбе с этой сворой мошенников. Но ссоры с друзьями не долговременны, да и помимо дружбы нас связывала работа: без Этты я не смог бы закончить книгу о «ведьмином столбе» на Леймонтском шоссе. Этта не только воспроизвела весь процесс по судебным отчётам в газетах, но и восстановила со своей изумительной памятью всё услышанное, обсуждавшееся и совместно пережитое в связи с событиями, завершившимися «процессом века». Лично мною увиденное и услышанное я рассказал в собственноручно написанных главах. Неподслушанные разговоры всех причастных к событиям лиц мы воспроизвели умозрительно, но с большой вероятностью: такие разговоры, конечно, были.

Ну что ж, книга закончена, предстояло только найти издателя. И представьте себе, я его нашёл. И не в издательских офисах, а среди героев книги. Не старайтесь догадаться — это не Стон и не Плучек. Плучек парит в заоблачных финансовых высях, а Стон занялся гостиничным бизнесом — строит отели на альпийских курортах. Нет, своего издателя я нашёл в баре «Аполло», он шёл прямо на меня, с лицом, похожим на кусок сырой баранины, и глазами, опухшими от виски с содовой.

— А-а, физик, — хохотнул он, — живёшь?

— Живу, — говорю.

— А где твоё гиперпространство?

— Нет его.

— То-то и оно... Значит, опять в науку?

— Не совсем, — говорю. — Пока книгу пишу о нашем алмазном бизнесе.

— Меня пощёлкиваешь?

— Не очень. Больше Стона и Плучека.

— Этих, — говорит, — щёлкнуть стоит. Издатель есть?

— Ищу.

— Везёт тебе, физик. Есть такая юридическая контора: «Винс и Водичка».

— Неужели опять открылась?

— Когда надо, она всегда открыта. Зайдёшь туда от меня и всё оформишь. Блеск?

— Блеск, — говорю.

Итак, книга уже в наборе, и вскоре человечество узнает о нашем походе в Неведомое. Может быть, меня и осудят, но я не мог поступить иначе. Я человек неверующий, но готов повторить формулу нашей судебной присяги: клянусь говорить правду, только правду, и да поможет мне бог, если я увижу опять калитку в Неведомое и не закрою её, как закрыл месяц тому назад. Может быть, через сто — двести лет, когда Стоны и Плучеки уже не будут ходить господами по нашей земле, хозяева соседнего мира снова откроют калитку и встреча двух Разумов произойдёт, как теперь говорят, в сердечной и дружеской обстановке.0